

The background of the book cover is a photograph of a coastal scene. In the foreground, there's a rocky pier or breakwater extending into the sea. The water is a vibrant blue. In the distance, a large ship is visible on the horizon, and further back, there are mountains under a blue sky with wispy clouds. On the right side, a small part of a building is visible.

16+

Виорэль Ломов

# Солнце слепых

Роман

Виорэль Ломов

**Солнце слепых**

«ЛитРес: Самиздат»

2018

**Ломов В. М.**

Солнце слепых / В. М. Ломов — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Философско-психологический роман о человеке, вся жизнь которого проходит не только в столкновении с реальными трудностями и бедами, но и в преодолении препятствий, которые он выстроил в своей воображаемой жизни. В орбиту этих событий втянуты и все его близкие и знакомые.

© Ломов В. М., 2018

© ЛитРес: Самиздат, 2018

## Содержание

Пролог в электричке	6
Глава 1. Анютины глазки	11
Глава 2. Рейд Первой Конной	18
Глава 3. Пираты в камере	25
Глава 4. Три грации	32
Глава 5. Разговор	38
Глава 6. Медсестра Катя	40
Глава 7. Когда уходят навсегда	46
Глава 8. Тихие радости	51
Глава 9. Первое плавание	52
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# **Виорэль Ломов**

## **Солнце слепых**

Быть здесь я в силах, но не хочу; там хочу, но не в силах: жалок обоюдно.  
Аврелий Августин



## Пролог в электричке

Вагон был переполнен. Голов хватило бы на три «Апофеоза» Верещагина. Гудя, как мош-кара, все недовольно рассуждали о политике. Политика – единственное, о чем все имеют поня-тие. Как Аристотель. Только две дамы, как два насосика, качали городские сплетни о жизни мэрии, богемы, «черном пиаре», вперемешку с фразами о высоком. Все высокое качается из низкого.

– Аль Хафиз аль Марвази известен мне со слов Шамс ад-дина аль-Мукаддаси! – не ожи-данно заявила дама в брюках даме в юбке. Два длинных пролета до этого они не могли поде-лить что-то между замом мэра Пинским и Барухом Спинозой.

У дамы в истонченном трико, зажатой между ними, от Пинского и Баруха было дурно, а от «аль-Мукаддаси» и вовсе закатились глаза. Огрубевшими от свободы руками она вцепилась в разбитую садовую тележку, как в пулемет «Максим». Ну, еще слово, зараза, еще одно!..

В тамбуре под табличкой «Не курить» курил и надсадно кашлял свирепый штурман Билли Бонс.

– Может, все-таки бросите курить?! – строго спросила вертлявая дама, явно чужая в этом вагоне. Билли обдал ее дымом, и дама локтями пробуравивала себе путь внутрь вагона. Ровно на одного человека.

– Я бы бросил, – прохрипел Билли ей вслед, – но не могу: толстая кишка тонка.

– Ага! – сказал здоровенный парень на ее пути, колыхнулся и тут же образовал вокруг себя пустое пространство. – Фу-у!.. Жара!.. – вздохнул он. На голове у парня был пробковый шлем, а от талии до колен просторные парусиновые шорты с лампасами, гульфиком и карма-ном. Лампасами и шлемом он напоминал генерала. В кармане было пусто, но в гульфике зве-нели гульдены. Парень снял шлем и вытер пот со лба и изнутри шлема, а из кармана шорт выглянул котенок. Тощий и страшный, как смерть.

– Ах, какая прелесть! – всплеснула руками дама, не отводя глаз от парусиновых шорт. Она ростом была аккурат парню подмышки. Парень сказал: «Гы!» – и погладил котенка. Тот спрятался.

Возле дверей сидел старик не от мира сего. У него вся жизнь пролетела, как один сего-дняшний день, и день сегодняшний для него был, как день вчерашний. От куска хлеба в поли-этиленовом мешочке старик отщипывал крошки и бережно отправлял их в рот. Долго, сосре-доточенно жевал, кивая головой, как бы оценивая вкус. Когда старик съел весь кусок, он выбрал крошки из пакетика и аккуратно свернул его. Потом бледными узловатыми, но очень крепкими пальцами собрал с пола упавшие крошки и отправил их в карман. Трапезу свою он запил водой из стеклянной бутылки. А может, и не водой. Заткнул горлышко половинкой пробки, надел кепку и, опершись подбородком на, естественно, самодельный посох, устремил свой взгляд в неизведанные дали, спрятанные, как оказалось, в стене вагона, и задумался.

Головы пассажиров поплыли, поплыли... стали отделяться от туловищ... сами собой собрались в пирамиду, которая тут же рассыпалась под ребячий смех. Напротив старика сидели подростки, самые настоящие салаги. Они смеялись всю дорогу, рассказывая друг другу что-то ужасно смешное. Им жить смешно, и жизнь их смешна. И голоса их ломались, как их судьба. Но старик, казалось, вовсе не замечал их. Может быть, они были для него, как его молодость, всего лишь тенями прошлого, но никак не будущего, от которого он уже ничего не ожидал; а звуки их голосов были лишь звуками, которые сопровождали его всю жизнь, и потому были безразличны ему. Когда человек наперед знает то, что произойдет, что скажут или как посту-пят, ему не интересно, что произойдет, что скажут и как поступят, ему это все равно, ибо он знает нечто большее, чем знают все остальные, которые бестолково говорят, бестолково посту-пают и бестолково тычутся на квадратном метре собственной жизни. Чем не то же дерево?

Скажем, вяз или орешник. Любой подойдет и спилит. Или обольет мочой. Один раз только он вдруг изрек в пространство:

– Не путай работу с пьянкой, пьянку с любовью, любовь с работой! – и вспомнил что-то забавное, что для пацанов было еще до новой эры.

Пацаны подтолкнули друг друга локтями и заржали, как могут ржать только безмозглые пацаны, за которыми будущее. Они временами пытались морщить свои щенячьи лобики и сводить в поисках мысли переносицу, но лобики не морщились, переносица не сводилась.

А со всех сторон летят слова, обжигает шепот, оглушает вопль.

– Бабку нашу отмузузили в подъезде вместе с собакой! Руку сломали, а псу ухо порвали!

– Чего ты хочешь, когда могилы и те оскверняют вандалы!

Стоит людям собраться вместе, хотя бы этим пацанам, им достаточно для общения десяти процентов интеллекта, а еще важнее, души каждого. Если же и до этого в каждом из них были не больше десяти процентов интеллекта и души нормального человека, то одного процента вполне достаточно, чтобы ночью пинать ногами старушку с ее старым псом или перевернуть на кладбище могильные плиты своих отцов.

– Позвольте, никак это вы? Капитан?! – раздался вдруг от входа голос, принадлежащий энергичной женщине в годах, не расстающейся с трибуной и табаком. На ней были кимоно и шляпа. – Молодые люди, позвольте! – она смахнула одного из них с сиденья, но тот тут же втерся между двумя своими приятелями. – Это вы! – она захохотала, на удивление, лучистым взглядом оглядывая всех вокруг. – Нет, кого я вижу, вы, капитан?! Привет! Живы еще? Как я рада, кэп! Сейчас подойду! – она помахала рукой двум ученым дамам, увязшим в филологии арабского Востока и утопившим в ней даму в трико.

– Не желаете, Анна? Ключевая, – старик, вытащив зубами половинку пробки из бутылки, протянул ей воду. – Аква краната.

– Нет, это вы! – Анна не верила своим глазам.

– Да, это я, – с достоинством ответил человек, которого она упорно называла «капитаном». – И уже скоро как восемьдесят лет. Водка, – удивился он, допив воду из бутылки.

– Не напоминайте мне о моем возрасте, кэп, это нетактично. Куда путь держите, к каким сокровищам?

– К сокровищам дачного участка, сударыня. Я там двадцать лет назад зарыл пять золотых гульденов. Жду, когда прорастут.

– А! – махнула рукой Анна. – Их уж давно вырыли Алиса с Базилио. Прошу прощения, капитан, я на минутку – перекинусь словечком с барышнями. Ужасные зануды!

– Как он похож на Жана Габена, – кивнула на старика дама в брюках.

– Вы находите? – не согласилась дама в юбке. – А по-моему, на Лино Вентуру. Глаза...

– Я хорошо знаю его, – подключилась Анна. – Это настоящий капитан. Похож, похож на Габена. На Вентуру похож. Но больше на Марлона Брандо!

«Дуры! Уж скорее – на Крючкова или Утесова», – подумала дама с пулеметом.

– Мэри, тогда ты иди сюда. Садись рядом, – позвал сиплым голосом чужую даму старик. – А то без женщин одна пыль.

– Я не Мэри, – кокетливо сказала вертлявая дама, садясь, однако, на освободившееся место.

– Неважно. Франсуа Олоне. Генерал, – представился дед. – Порт приписки – Тортуга.

Молодежь зашла в вое. Круто!

– Страшный злодей, – добавил генерал.

В ухе пирата качнулась здоровенная серьга. От нее скользнул лучик света.

– У тебя нынче не день рождения, Мэри? Я каждый день твоего рождения пою «о дальней Мэри, светлой Мэри, в чьих взорах – свет, в чьих косах – мгла», – прохрипел старик и подмигнул пацанам. Те снова завyli. Это был, воцпе, такой кайф!

– Это из их глоток делали корабельную сирену, – заметил Олоне, кивнув на них.

Дама пыталась сказать что-то пирату, но тот не глядел на нее. Он был во власти воспоминаний:

– Между прочим, когда мы с Мигелем Бискайским и моим помощником Антуаном дю Пюисом снарядили флотилию, насчитывавшую тысячу семьсот тридцать два молодца, и только на одном моем корабле было десять восьмифунтовых пушек!..

– Десять восьмифунтовых пушек?! – воскликнула Мэри. Она была шустрая, пестрая и красивая, как сорока. Нет бы, ей посидеть, но она вскочила с места и вертелась в проходе. Разумеется, место ее тут же занял изгнанный Анной парень.

– ...вот тогда на восходе солнца корабли зашли в бухту Маракайбо у Новой Венесуэлы, проплыли между Исла-де-ла-Вахилией и Исла-де-ла-Паломасом и на следующее утро атаковали форт Эль-Фуэрте-де-ла-Барра возле селения Гибралтар. Я сам повел ребят в атаку с криком «Вперед, мои братья, за мной и не трусьте! Все люди – братья!» Ах, атака! Я рубил испанцев, как тростник – вжик! вжик! вжик!

В вагоне вдруг все стихли и слушали старого пирата. Слышно было, как подавили агитатора за блок генерала Петрова, а продавца желтой прессы вообще выкинули из вагона.

– Кстати, Мигель Бискайский и Антуан дю Пюис едут в этом вагоне. Да вон они! Привет, коллеги! – старик помахал рукой боцману и парню в пробковом шлеме.

– Адмирал! – взревели оба.

– Осторожнее, это портрет, – адмирал погладил прислоненный к стене вагона плоский и прямоугольный предмет, завернутый в мешковину.

Места рядом с Олоне тут же опустели и на них плюхнулись оба пирата. Троица предалась воспоминаниям. Антуан гладил котенка кугуара. Пацаны блестели глазами и подталкивали друг друга локтями.

– Растут, сынки! – похвалил их Билли Бонс, который Мигель.

– Когда в мае 1596 года, всего-то четыреста лет назад, всемогущий испанский король, владыка полумира Филипп узнал, что тело его злейшего личного врага... Мое тело, – старик поднял кверху указательный палец и спутники его согласно закивали головами, – покоится в свинцовом гробу на дне залива, неподалеку от панамского города Номбре-де-Диос, это для него был сущий праздник. Одно это известие продлило ему на два года страданий его жизнь. Католический мир залился вином. Вся Испания ликовала, энтузиазм распирали всех, будто каждый испанец приложил руку к моей преждевременной смерти...

Экс-пират усмехнулся.

– Все просто опухли от счастья. Да, тогда была весна... Точно такая же весна, как перед этим... Мы с запада заходили в гавань вдоль узкого мыса, на котором лепился Кадис. Ослепительно белые стены домов в прозрачном воздухе как бы приподнимали город над ослепительно голубой поверхностью моря. Все было какое-то небесное. Какое было время! Какое время!.. – старик задумался. – Так вот, Севилья была залита огнем иллюминаций, число ночных любовных признаний возросло втрое, дуэлей – впятеро. И только одна женщина, богиня, прекраснейшая из прекрасных, донна Изабелла (это вот ее портрет), бросившись лицом в мавританское покрывало, не стесняясь слез своих, безутешно рыдала, рыдала первый раз в жизни, а потом в клочья разодрала покрывало, мокрое от ее слез. А какие у нее были глаза, какие глаза! Что-о-о?! Они сверкали даже во тьме! И вот эти глаза погасли, потускнели и опустели навсегда, – глаза старика засверкали, как суровое море в ночи. Салаги молчали. Когда молчишь, и набираешь рост.

А потом вагон летел на восток, а люди в нем держались мыслями за запад. Впереди были дачи, позади дома, и только у одного пирата дом там, куда он держит путь. Мысли упруго натягивались, рвались... Вот они порвались, и все замолкли. Дорога сморила всех, рядом со стариком оказалась дама, он не понял какая, то ли Анна, то ли Мэри – а, один черт! – справа



был портрет у стены, сквознячок по шее, слева дама, он пригнулся к ней и уснул. Проснулся от толчка. Остановка. Дамы не было – видно, унесло сквознячком. На удивление было тихо в совершенно пустой электричке. Не было даже запаха мыслей. Неужели проспал до конечной? Вышел. Нет, остановка его. Но что это? Снег? Снег-то намел, ясно, ветер, а вот его кто принес сюда? Какой снег! Неужели пролетело полгода? Или полжизни? Моргнешь раз глазом и проморгаешь лето. Моргнешь другой и проморгаешь жизнь. «Однако чего это меня принесло сюда зимой? – подумал старик. – Ничего не поделаешь, теперь надо пробираться к домику». И он далеко в сторону отбросил ненужный теперь посох.

Снегу было по пояс. Садоводческое общество онемело под снегом. Снегу намело под застрехи домов. Так тихо, что слышно, как за рекой стрекочет сорока да товарняк за рощей отпиливает кусок пути. Снег лежал на пути, как белый дракон. Из-за поворота вышла огромная фигура, увенчанная несуразно громадным рюкзаком, да еще покрытым чем-то плоским. И только она ступила на снег, как тут же и исчезла в нем, оставив на обозрение один рюкзак с плоской крышей. Из-под рюкзака понеслись ругательства. Появились руки, голова со сдвинутой набок шапкой. Фигура вылезла на свет божий, сняла рюкзак, осторожно отцепила от него завернутый в мешковину портрет и, вытирая со лба обильный пот, пристроилась на заборе. Это был генерал Олоне. На него с любопытством уставилась сорока, прилетевшая на ругань с того берега.

– Надо ползти! – воскликнул герой Маракайбо и форта де-ла-Барра, а может, и Номбре-де-Диос, и помахал сороке шапкой. – Внучка тут не проходила? Внучка Мэри? Я подобрал ее в Каракасе.

Он нахлобучил шапку, похлопал по ней рукой, так что неясно было, что он нашел в Каракасе – внучку или эту шапку – и, прицепив к спине, как черепаха панцирь, портрет, пополз по улочке, волоча за лямки набитый рюкзак. В рюкзаке что-то позвякивало, никак не меньше сорока тысяч реалов. Пополз, скорей всего, к заливу Дарьен и дикарям индиос бравос, которые поджарят его останки, а может, на палубу флагманского корабля, с которого отправится в свой последний свинцовый путь.

– Да! – вдруг воскликнул он. – Никакой я не генерал Олоне! Олоне – щенок! Я капитан Дрейк! Даже генерал-адмирал, рыцарь английской королевы! – и он пополз дальше своей тропой. Он шел по ней, как корабль по проливу. Как английский фрегат или испанский каррак. Сорока сопровождала его, кромсая воздух, словно ножницами, острыми крыльями и резким стрекотом.

Но вот его дом. Не тот, конечно, что в Плимуте, попроще, или, как говорили в те времена на Руси, попрощее. Из снега торчит одна крыша серого шифера, который стреляет в костре, как патроны. Устроить, что ли, фейерверк? С восточной стороны, там, где крыльцо, снегу поменьше. Под крылечком была лопата, и капитан Дрейк стал откидывать снег от домика. За этим занятием незаметно пролетел день и натрудилась спина. Солнце висело с западной стороны, как икона, и Дрейку было тепло в его низких косых лучах. Вот только бы еще разогнуться, чтобы свысока взглянуть на остатки жизни. С улицы послышался чей-то возглас. Пират выглянул из-за домика. На улочке никого не было. Но голос раздался вновь, он настойчиво звал кого-то. Старик подошел к ограде и увидел напротив соседнего дома торчащую из сугроба голову в вязаной шапочке.

– Да вытащите же меня отсюда! – призывала женщина. Она вся ушла в сугроб, и Дрейку пришлось просунуть руки в снег, чтобы подцепить ее под мышки и выдернуть из ледяного плена.

– Мэри, где ты пропадала? Чайку?

Вода закипела, и Дрейк залил кипятком пакетики. Они стали греть руки о кружки. Дрейк стал рассказывать о Моисее Воклейне, по-простому, Мойше, где-то у черта на куличках, у Пуэрто-Кавальо, вожаденно взирающим на испанский корабль с двадцатью чутунными и

шестнадцатью бронзовыми пушками, который сам шел ему в руки. А потом голос его смолк, и наступила тишина.

Мэри пыталась объяснить, что она не Мэри, что-то говорила про Анну, про Катю, про Фелицату, но старик не слушал и не слышал ее.

– Ведь ты не Изабелла? – только раз встревожено вскинулся он и внимательно посмотрел на нее. – Нет, не Изабелла... У меня есть ее портрет. Вон, посмотри, видишь? Правда, у нее совершенно необыкновенные глаза? А-а-а... Тогда слушай, Мэри, и не перебивай.

Произнес таким тоном, что его не перебила бы и сама королева Елизавета.

Сорока послушала его какое-то время, послушала и сорвалась с ветки, оставив в воздухе алмазную пыль. Подробности чужого, хоть и пестрого, как она сама, мира мало интересовали ее.

Сколько прошло времени? Час, два? День? Четыре века?

И вновь улочка пуста. И в доме том никого нет. Ни Мэри из Каракаса, ни Олоне, ни Дрейка, никакого другого Блада. Нет ни какао, ни кожи, ни пороха, ни индианок, нет ни пушек, ни мушкетов, ни вельвета, ни виргинского табака. Нет ни крупного города Нежинска, двух-миллионного областного центра, с оперным театром и бензозаправками, ни великого города Гондураса, ни поселений вокруг озера Никарагуа, где по улицам, вымощенным золотом, глухо катят колеса из красного дерева седра, по-испански именуемого кедром, а по-французски – акажу. А уж звонкой монетой – реалами и песо – даже не пахнет! Пахнет морозом, пахнет зимней Русью.

Горит на солнце роскошный день января. И так тихо, так тихо, что слышно, как за рекой стрекочет сорока. Огромная глыба воздуха сверкает золотыми насечками снежинок, а земля и деревья в снегу переливаются голубоватым светом, которым впору освещать только дорогу в рай.

Счастлив тот, кто в такой день оказался на этом пути. Он то и дело слышит возглас, удивительно звонкий и молодой:

– Какие у Изабеллы глаза! Какие у нее глаза!

И тут же, тем же голосом, только уже хриплым и сиплым, в котором застряли столетия, как кость:

– К берегу! К бою! Спустить пиннасы! Пушки – заряжай! Прямой наводкой! И бей! Бей – резко – прямо – прямой левой! Ну, бей же, бей!

## Глава 1. Анютины глазки

Казалось бы, встань со стула, выйди в дверь и иди себе по улице. Прямо, прямо... Пыль, гравий, пожухлая трава, гранит. Ласточки носятся с каким-то стеклянным свистом... И выйдешь к дням, которые были тридцать лет назад, ярким, как в закатном солнце стволы берез на фоне грозы, ползущей с востока. И в этих днях встретишь всех, кто навеки остался в них. Встретишь их, а они и не заметят, что не виделись с тобой тридцать лет. Кто-то спросит, а кто-то и нет: «Плохо спал?» Если же выйдешь к дням, которым уже полвека, зарябит в глазах. От дней тех идет игольчатое сверканье и сочится таинственный свет. Это не свет гнилушки или светляка, это скорее фосфорический блеск морских волн в бескрайней ночи. И на этих волнах сердце то обрывается в бездну, то подступает к горлу. Там и вовсе тебя не узнает никто и ни о чем не спросит. Не обижайся на них – это не они забыли тебя, это ты сам давным-давно забыл о них. Ну а если вообще выйдешь к годам, которым потерян счет, и там увидишь самого себя, там просто *audi, vide, sile*<sup>1</sup> – так, кажется, Анна Семеновна?

\*\*\*

Анна Семеновна, которой в глаза все говорили: «Наша вы анютины глазки!», а за глаза называли «бабой с яйцами», исполняла должность проректора по воспитательной работе, и, надо признать, исполняла с блеском. У нее каждый день был бенефис. Анна Семеновна вообще могла подавать себя исключительно и только бенефицианткой. Всю свою достаточно долгую жизнь она несла себя уверенно, гордо, независимо и с достоинством. Если бы речь шла об Англии, можно было бы сказать: это леди! С известными, разумеется, оговорками. Но раз тут не Англия, а, как говорит секретарь институтского парткома Чапчахов, – Сэсэрэ, то и оговариваться не к чему.

Это была весьма цельная натура. Разумеется, она была до кончиков ярко окрашенных ногтей человеком общественным, но в то же время это был яркий индивидуалист со сверкающим взором, пламенем речей, блеском неженского ума и страстными порывами души. Словом, самородок. Перечить ей было нельзя. Да ей никто и не перечил. Был один, так его уже нет.

Анна Семеновна умудрялась тащить целый воз обычных воспитательных проблем, а к нему и еще две тележки – два курса лекций (это полставки на кафедре) и студенческий драмтеатр. Все это забирало ее целиком. Времени на остальное просто не было.

– Свободное время?! Что такое свободное время? – восклицала она. – Нонсенс! Где вы видели свободное время? Может, там же, где и свободного человека? Так тогда вы римлянин! Патриций! Но тогда это не вы! Может, вы вообще homo novus<sup>2</sup>, новый человек?

Надо заметить, что этот термин Анна Семеновна впервые употребила лет за десять до того, как стали появляться и размножаться новые русские.

Задержавшись допоздна на репетиции очередного водевиля (ей последние десять лет лучше удавались водевили), она резонно заключала, что проще остаться в институте, чем тащиться домой, а утром обратно в институт, бросала на пол под батарею пальтецо, как когда-то в комсомольские годы бросала шинель, и располагалась на нем до утра. Кулак под головой и пустое брюхо навевают сладкие сны.

– Девки! Утром занесете мне бутерброды! – кричала она. – Минутку, не уходите! Схожу в сортир!

Если же вечер удавалось провести дома, она совмещала отдых, ванну и сон. Да – и еще увлажнение эпидермиса! Ложилась в горячую ванну, пускала тонкую струйку воды и под ее

---

<sup>1</sup> Слушай, смотри, молчи.

<sup>2</sup> Новый человек; выскочка, парвеню.

звуки засыпала на час-другой. Чтобы случайно не соскользнуть в ванну и не захлебнуться, она на шею надевала пояс от халата и привязывала его к батарее, что висела над головой.

Ездила она в основном одним маршрутом: дом – институт – дом; а вернее: институт – дом – институт, так как дома ее уже давно никто не ждал, а институт не знал, как от нее избавиться. Ездила исключительно на такси. Случались и радиальные поездки на выездные лекции, в театр, на симфонический концерт. Она обожала Моцарта и ненавидела за это Сальери.

В такси она откидывалась на сиденье и, озорно поглядывая на водителя, закуривала папироску «Беломор». Папироска торчала между указательным и средним пальцами, а большой был перпендикулярен к ним.

– Надеюсь, вы не станете возражать даме? – говорила она таксисту и, небрежно протягивая пачку, добавляла. – Не побрезгуйте, угощайтесь!

А затем командовала:

– Форвертс! То есть вперед!

К женщинам-водителям Анна Семеновна не садилась по принципиальным соображениям.

– Я их боюсь! Их не удовлетворили, а мне рассчитывайся за это своей башкой!

В образовании Анны Семеновны решающую роль сыграл даже не университет, а классическое среднее образование, которое она успела захватить в силу того, что родилась в Петербурге, в семье известного инженера-путейца. Из тех славных времен она вынесла, благодаря хорошей памяти, все то, что отличало тогдашнего образованного человека от сегодняшнего. Знание развалин культуры Древнего мира было хорошим фундаментом критики железобетонной культуры современной. Говоря же о Греции или Риме, она употребляла только настоящее время, словно Греция и Рим располагались у нее дома.

Анне Семеновне невыносимо скучно было «просиживать штаны» на официальных собраниях и слушать всякую чушь. Если, конечно, она не выступала сама. Когда ей давали слово, а чаще она его брала сама, то закручивала отпущенное ей время в двухчасовую спираль. Понятно, институт потом два дня приходил в себя. Но даже там, где надо было просто «отсидеть время», «отметиться», она умела придать живость любой мертвечине. Зная много анекдотов и пикантных подробностей из жизни богов и героев как современного, так и древнего мира, она охотно делилась ими со своими менее просвещенными коллегами.

– Обычай изображать Гермеса с натянутой тетивой... понятно, да?.. – Анна Семеновна вздернула, как итальянец, кулак, – афиняне переняли у пеласгов, – громко шептала она на заседании Ученого совета. – Пеласгов – были такие. Звон тетивы регулировался с помощью шнурков: один шнурочек вверх, другой вниз. А вслед за шнурочком натягивалась и тетива. Вот так, – снова жест.

Затем она наклонялась к соседке Софье Никитичне и, указывая острым подбородком на лысину заслуженного деятеля науки, профессора Волынцева, сидевшего впереди, шептала той что-то на ухо. Софья Никитична улыбалась. У профессора ежилась лысина, краснели уши, а голова уходила в воротник. Анна Семеновна добавляла еще пару фраз, после чего Софья Никитична доставала платочек из рукава и вытирала им слезы.

– Анна Семеновна, да уймись вы! У меня же глаза потекут.

– Вы же знаете, Софья Никитична. Геродот еще заметил, что в теплых краях рога растут в пять раз интенсивнее, чем в наших, и... – далее журчала нечленораздельная речь, из которой всплывали фразы «крупный рогатый скот» или «производительность труда».

Тут Софья Никитична и вовсе начинала кашлять.

– Какое-то безумие: получаем в распоряжение вечность, тратим ее по крохам, а ни на что не хватает! На дворе уже восьмидесятый год... – взглянув на часы, резко меняла тему Анна Семеновна. – А с другой стороны: сколько бы его ни было, этого времени, в конце все

равно цейтнот. Спросим у шахматистов. Василий Львович, – трогала она за плечо профессора Волынцева. – А, Василий Львович!

Тот поворачивался, демонстрируя на лице отпечаток темы заседания Ученого совета.

– Василий Львович, не правда ли, в шахматах главное не умение играть, а умение вписаться в отпущенное для игры время? – подбородком Анна Семеновна указывала на председателя Ученого совета профессора Сазонтьева.

– Как вам сказать? Если не умеешь играть, не вступишься.

– А если умеешь?

– Тогда, наверное, да.

– Благодарю вас, Василий Львович. Не правда ли, Юрий Семенович сегодня бесподобен? Есть ли что лучше, чем изрекать банальности? Это самое естественное состояние человека. Нет, вы послушайте, он не может без статистики! Статистика, как проститутка, обслуживает всех.

Латинский язык она знала блестяще и доводила коллег до умоисступления крылатыми фразами и словечками. Любимыми ее выражениями были: «*imago animi vultus*»<sup>3</sup>, «*satis verborum*»<sup>4</sup> и сотни других, известных не только в Древнем Риме, но и в современном мире всем образованным гражданам. «Я отношусь к числу «*laudator temporis acti*»<sup>5</sup>, – любила говорить на Ученом совете Анна Семеновна, – хотя в тех былых временах я много и претерпела». Ученый совет много лет ломал голову над тем, что она хотела этим сказать. Таксистов же, как людей занятых общественно полезным делом, она неизменно приветствовала стереотипно и кратко: «*Salve*, голубчик!»<sup>6</sup> Голубчики обоих таксопарков ей отвечали тем же: «*Salve!*»

Анна Семеновна занималась воспитательной работой на совесть. Она, конечно же, понимала, что учебная работа – главная и основная работа в вузе, но поскольку ею занималась не она, а Ядвига Леопольдовна, проректор по учебной части, то главным и основным у нее стало именно воспитание подрастающего поколения, а заодно и всего профессорско-преподавательского состава, в духе подлинного гражданства, к которому призывали еще Минин и Пожарский. Слова же великого русского поэта Некрасова о поэте и гражданине бронзовой краской были выписаны на стене ее кабинета, как напоминание всякому посетителю, который заходил к ней по своей или по ее воле.

Один только перечень дел, занятий и проблем, с которыми ежечасно сталкивалась Анна Семеновна, занимал две страницы машинописного текста. Этот перечень, за ее подписью, был вывешен на первом этаже учебного корпуса на доске с расписанием. Его дважды в день мог видеть ректор института Егор Васильевич Тугой.

Воспитательная работа включала в себя СТЭМ и КВН, общежитие и ДНД, кураторство и субботники, шефскую помощь селу и праздники, митинги и персоналии, комитет ВЛКСМ и партком, театры и концерты, выставки и стадионы, абитуриентов и интернат, стенгазеты и агитпоезда, интеротряды и мир во всем мире. Проблемы подлинного, а не квасного патриотизма, проблемы духовной и одухотворенно-половой (*sic!*) любви, проблемы долга и служения, духа и отчизны, проблемы мужественности и женственности, проблемы интеллектуализма и информированности, начитанности и образованности, проблемы языкознания и этимологии слов – несть им числа! Когда студенты жаловались на трудности учебного процесса, она хохотала над несчастными и громко вопрошала их:

– С чем у вас трудности? С запоминанием? А что там, в учебном процессе еще?

---

<sup>3</sup> Лицо – зеркало души.

<sup>4</sup> Довольно слов.

<sup>5</sup> Восхвалитель былых времен.

<sup>6</sup> Здравствуй.

Но если к ней на лекции или на семинарском занятии обращались с вопросом, что такое феминизм или применима ли в условиях развитого социализма «Кама-сутра», она готова была часами рассказывать о сравнительных правах женщин у нас и в странах капитала, о возрастающем с каждым годом потенциале строителей коммунизма и об отличии любви индусов от любви тех же пеласгов, после чего у студенчества отвисала челюсть, и хотелось все испробовать самому. Анна Семеновна искрометно рассказывала о том, как она воочию видела Брюсова, Ленина, Маяковского, Коллонтай и даже императора Николая Второго.

– С Джоном Ридом я была – вот как с вами – я тут, он там. Потрясающий был мужчина! От него шла волна революционного энтузиазма! Настоящие мужчины – все революционеры, а все настоящие революционеры – мужчины! Вы думаете, чему обязана революция своим успехом? Только мужской силе пролетарского авангарда!

Ее не пугал всеобщий аскетизм, когда все обладали всеми. Ведь от этого все были безмерно счастливы. В годы немыслимой чистоты нравов, когда детей находили в гнездах аистов и в капусте, Анна Семеновна умудрялась читать спецкурс и вести кружок «Особенности брачных ритуалов и церемоний народов земли».

– Ну и ну! – удивлялись в деканатах, на кафедрах и в ректорате, а студенты так просто шалели от восторга, так как и на обычных лекциях, она чуть ли не половину времени уделяла рассказам о своей боевой молодости и всякой архаике, любви, сексе, исторических казусах, связанных с этим. Не исключено, что именно ее молитвами число бракосочетаний на младших курсах заметно возросло.

– В любви главное то, о чем вы все время думаете, – так обычно Анна Семеновна начинала первую лекцию. Она справедливо полагала, что в основе всего, даже курса политической экономии, лежит любовь. – Именно эрос. Эрос – фундамент жизни! Вам не приходилось бывать в Индии?

Хотя Анне Семеновне тоже не довелось побывать не только в Индии, но даже в Болгарии, она со знанием дела описывала храмы, статуи, обычаи индусов. Особенно нравился молодежи священный ритуал, когда царица при павшем ниц народе соединялась во имя народного счастья с быком. Разумеется, на ее лекции студенты валом валили. И когда ее пытались (единственный раз) приструнить на идеологической комиссии парткома, она вполне резонно спросила ее членов (в основном мужчин): «А скажите-ка мне своими словами, о чем таком, чего не делаете вы сами, я говорю студентам? Я им говорю о продолжении рода человеческого и о росте самосознания гражданина, а это, в конце концов, единственное верное направление в воспитании нового человека! В конце концов, чему вы обязаны своим появлением на свет? Божьему промыслу? Тот, кто бросит в меня камень – тот бросит камень в свою мать!» Камня никто не бросил. В протоколе записали: «Проведено разъяснение. Объяснением удовлетворены». Будь кто другой на ее месте, уже был бы третий.

Из всей воспитательной работы Анна Семеновна не любила только сама ходить по общежитиям и рыться в студенческом белье. Она предпочитала засылать в «бастионы коммунистической морали» своих посланцев.

– Проверять в общежитии моральный облик студентов и студенток? – восклицала она. – Зачем? Конечно же, он у них есть. Куда ему деваться, если деваться некуда? Не будете же вы у солдат проверять аппетит, а у евреев чувство юмора? И потом – кто первым бросит в бедную девушку камень, если даже и обнаружит грех? Вы мне приведите его! – с этими словами она отправляла в рейд бригаду комсомольцев-старшекурсников, в сумках которых вместо камней было вино и пиво.

Своим языком Анна Семеновна могла достать любого, оттого у нее со всеми в институте был общий язык. Напряженные отношения были лишь с Ядвигой Леопольдовной, которая на все имела свою точку зрения, а воспитательный процесс с высот учебного открыто называла профанацией.



– Нам трудно с ней найти общий язык, – вздыхала Анна Семеновна. – Мы с нею даже мыслим разными полушариями: я северным, а она южным, – а потом добавляла: – На Руси испокон веку три зверя было – Хмарь, Хмурь и Хмырь. Появился четвертый – Ядвига Леопольдовна.

И если внешней стороной Анны Семеновны был непрерывный бенефис, то внутренней – перманентная влюбленность, причем не как у чеховской «душечки» – от себя, а совсем наоборот – к себе. Она влюблялась, во-первых, в мужчин моложе и даже много моложе себя, во-вторых, влюбляла их в себя до безрассудства и, в-третьих, не брала в голову их проблемы, а, напротив, сваливала на их головы свои. Разумеется, она не превращала их всех, как волшебница Цирцея, в свиней, так как многие из них в метаморфозах не нуждались. Когда улетучивался флер первой влюбленности и замечались отнюдь не первые морщины на шее волшебницы и ее золотые зубы, и когда совершенно переставало интересовать, а что же у нее в ее бессмертной душе, они и бросали свои амурные затеи. Впрочем, Анна Семеновна бросала их за день до этого. Много семейных устоев и крепостей рухнуло под безудержным напором этой женщины, но при этом она не расплылась на очередных бастионах и редутах, а в их покорении только обретала силу и черпала энергию, поскольку ей сопутствовала одна лишь победа. Если быть точным, в последний раз это случилось лет пять, может, семь назад. Одно обстоятельство смущало Анну Семеновну: предмет любви часто оказывался неодушевленным.

В молодости она дня не могла прожить без мужчины – во всяком случае, в зрелые лета об этом было приятно вспомнить.

– Это же так естественно, – объясняла она. – Я женщина, и мне нужен мужчина. Для чего? Для того единственного, что он может хорошо делать. И это – единственное, что от него требуется. Все прочее может быть хобби. «Beati possidentes»<sup>7</sup>.

Действительно, мужчина был нужен ей такой, какой он есть: простой, как трамплин или сцена, как батут или трибуна, от которого она могла оттолкнуться, на котором могла поплясать или попрыгать, с которого могла произнести пламенную речь. Мужчины все терпели от нее, так как она ни на кого не была похожа из их куцега «списка любви». Она была как танец в Севилье. О ней ходили легенды. В нескольких областях Союза Анне посвятили стихи и песни, а один композитор, в прошлом ударник, даже кантату с преобладанием ударных инструментов и посвящением: «Тебе одной, Анна». Так когда-то в маленьких государствах Древней Греции, в одном за другим, возникал миф о богине любви Афродите.

Обычно, когда у женщины остается мало жизненных сил, она начинает отчаянно прихрамывать, чтобы было удобнее сцапать мужчину вблизи, а не на бегу. Подобная тактика была совершенно чужда Анне Семеновне, хотя и губы у нее были всегда ярко-красными, особенно нижняя, линия бровей поднята росчерком черного карандаша, на щеках был наведен опять же губной помадой и пудрой румянец, волосы окрашены басмой. Она любила выпростать из-под длинной юбки довольно изящную ножку тридцать седьмого размера и воскликнуть: «Вчера я едва не отбросила копыта!» – и ножкой верть-верть туда-сюда.

Годы, совершенно не затронув души Анны Семеновны и не истратив ее боевого потенциала, увы, порядком потрепали лицо. Лицо ее предательски выдавало присущий ему возраст, хотя, надо сказать, и с поправкой на десять лет в сторону девичества, превратившегося уже, увы, в некую мнимую величину. Когда на кафедре (а кафедра была исключительно женской, если не брать во внимание одного доцента и двух ассистентов-мужчин) заходил разговор о морщинах или цвете лица, Анна Семеновна брала зеркало, стягивала ладонями к вискам и ушам кожу на лице – получалась совершенно страшная, немыслимая даже по восточным меркам физиономия – и вздыхала: «Почему бы лицу не быть таким?»

<sup>7</sup> Счастливы обладающие.

В компании сказать: «Я не пью» – сказать заведомую чушь. Не поймут. Ссылка в Туруханский край во все времена была понятнее, чем ссылка на здоровье или здоровый образ жизни. Анна Семеновна могла позволить себе сказать такую гадость даже в компании, где ее знали как хорошо пьющего человека. Она любила «жахнуть» что угодно из любой посуды, хоть спирт из латунной (275 мл!) кружки, но говорила исключительно о «фужерах», «шабли» и «пригубить».

– Плесните-ка мне в фужер шабли! – восклицала она, подставляя под водку граненый стакан. – Пригублю! Я совершенно перестала пить! Печень, знаете ли! Да и действует на оба полушария головного мозга! Не башка сразу, а глобус!

Печень и головной мозг позволяли ей пригубить сто пятьдесят граммов «шабли», а по государственным праздникам и все триста.

– Если мир и погибнет, то только от удовольствий! – восклицала она при этом.

Из хобби достаточно будет упомянуть грандиозный труд, создаваемый ею уже седьмой год, монографию под названием «Развитие человеческих отношений в социуме». Во второй части работы Анна Семеновна убедительно доказывала, что прогресс в развитии человеческих отношений адекватен росту благосостояния трудящихся, что и подтверждалось богатой библиографией и данными Госкомстата. В третьей, решающей, части работы автор предлагал «Концепцию нового человека». Главным в концепции, естественно, была борьба за него. Эта борьба, правда, напоминала бой с тенью, и, если выйти за рамки монографии, чем дальше продвигалась она потом, тем дальше и дальше уходил новый человек в тень. Лет через десять он вынырнул вдруг из-за угла, но это уже был совсем не тот новый человек, совсем не тот! Ну да Анна Семеновна о том тогда и подумать не могла.

Не чужда была Анна Семеновна и поэзии. Она писала много и охотно, стихов и даже поэм, и чем дальше, тем больше писала, ее произведения уже не помещались в стенгазеты и многотиражку. Выход был – выпускать собственный институтский литературный журнал. Нужен журнал? Что ж, будет! Ни с кем она еще, правда, этой мыслью не обмолвилась, что вообще-то было удивительно, так как малейшую свою мысль она любила тут же делать общим достоянием. И, надо отдать ей должное, услышав ее как первозданную из чьих-то еще уст, лишь удовлетворенно улыбалась тому, что труд ее не пропал втуне. Но при случае, который часто создавала сама, она вворачивала плагиатору шуруп, да так, что тот вынужден был публично признаться пусть в маленьком, но интеллектуальном воровстве. С годами Анна Семеновна приучила научно-педагогическую общественность института к бережному отношению к высказываемым ею словечкам и суждениям, а поскольку за ней таковых числилось великое множество, то в вузе вскоре и вовсе перестали говорить что-то самостоятельное и умное, ограничивались зачастую расхожими местами и фразами, будто бы нарочно выдернутыми из протоколов партийных или профсоюзных собраний. Разумеется, редколлегия будет состоять из институтских талантов, список которых уже был готов. Критиков, понятно, в институте, кроме нее, не было, поэтому этот крест ей придется тащить самой. А для первого номера, пока редакция не собрана, придется капать самой, ну да ей не привыкать. К Новому году посрашим «Новый мир»!

Лиха беда начало, и она тут же уселась за стол и взялась за передовую. «Как на фронте!» – хохотнула она в нервном возбуждении. «Полный вперед!» – сам собой родился заголовок. Анна Семеновна не стала задерживать шторы от света дневного дня, как это делал Белинский, так как была уже ночь, но рука ее ничуть не уступала в скорописи руке великого русского критика. К утру статья была «сосвистана». И тут же за столом Анна Семеновна и уснула, а проснулась через некоторое время оттого, что угол стола надавил ей грудь, и из желудка к горлу поднимались пузыри воздуха, насыщенные углекислым газом. «Гадость какая!» – поморщилась она, собирая исписанные листки в стопку.

Хотя все в упор не видят друг друга, почему-то каждый думает, что изменения в его жизни замечают все вокруг. Анна Семеновна тоже вдруг решила, что все уже знают о том,

что она возглавила новый литературно-публицистический журнал, и с утра ждала по этому поводу поздравлений от ректората, общественности, коллег и студенчества. Гляди, еще откуда-нибудь... Никого не было.

– Странно, – пробормотала Анна Семеновна, выглянув из кабинета. – Никто не приходил?

– Нет, Анна Семеновна. Вы кого-то ждете?

Анна Семеновна сходила на свою кафедру, но и там никто ни сном ни духом даже не подозревал о поразивших институт переменах. До вечера так никто и не пришел поздравить ее.

Ночью ей приснился сон о Кутузове. Будто в Москве идет Парад Победы. Всем вручают ордена, а Кутузов стоит в сторонке, как сирота, в каких-то белых кальсонах, светит одним глазом и смиренно ждет подношения. Как же так, воскликнула она, маршал Кутузов – и без награды? И тут же срочно несут полководцу на подушечке «Орден Победы» и с поклоном цепляют ему его на грудь, а Георгий Константинович Жуков на белом коне машет над головой пашкой.

Когда она проснулась, то вспомнила, что никому не сказала о создании журнала. С тем и помчалась на такси в родной институт.

## Глава 2. Рейд Первой Конной

Ранним утром агитбригада под командованием Анны Семеновны вошла на теплоход «Клара Цеткин». Капитан теплохода Федор Иванович Дерейкин стоял на мостике, как статуя адмирала Нельсона. Анна Семеновна, естественно, заранее узнала, как его зовут. Капитан был коренаст, широкоплеч, лицо, как и положено настоящему мужчине, было сплошь в рубцах и шрамах. А голос вообще просолен, просмолен и проветрен, как у народного артиста Крючкова.

В первый же вечер капитан пригласил Анну Семеновну к себе в каюту. У него было золотое правило: инструктировать старших и ответственных за рейс в первый же день, потому что обычно в первый же день все и напивались, со всеми вытекающими из этого безобразиями.

– Я не откладываю нашу встречу на завтра, – сказал он, – так как именно в первую ночь творятся всякие безобразия на корабле.

– За вами, капитан, *ius primae noctis* <sup>8</sup>.

– Что?

– Это ваше право, капитан!

– На пару слов по технике безопасности рейса. Через полчаса я буду у себя.

Поблагодарив за приглашение, Анна Семеновна опалила капитана восхищенным взглядом. Увы, тот его не заметил. Хм, подумала Анна Семеновна.

Как только Анна Семеновна постучала и вошла, капитан, словно ждал этого момента, тут же раскрыл толстый журнал, взял ручку и начал инструктаж.

– Анна Семеновна? Нам предстоит не совсем приятная процедура.

– Да? Какая? – живо отреагировала Анна Семеновна и огляделась: – Милый кабинетик! Капитанский?

– Угу, – ответил капитан. – Неприятная потому, что все к ней обычно относятся предвзято. Несколько заповедей на корабле – вам, как старшей.

– Не по возрасту! – крутнулась на пятке Анна Семеновна.

– Боже упаси! Да вы сядьте. Несколько слов о том, как себя вести.

– Капитан! Вы меня интригуете!

– Прежде всего: самое опасное на корабле – это огонь.

– Да что вы говорите! На воде?

– Увы, мадам, увы. Особенно, когда все напьются.

– Капитан, а не пригубить ли нам шабли? – Анна Семеновна заметила на полке бутылку. – Для огня. *In vino veritas* <sup>9</sup>.

– Ты право, пьяное чудовище, – капитан, кряхтя, поднялся и достал бутылку и два стакана. – Прикажете плескануть?

– Приказываю! Сегодня с нами ты не пьешь, а завтра родине изменишь! Я была уверена, что на корабле главная опасность не в огне, а в женщине!

– Один черт, мадам! То есть, я хотел сказать, без разницы, – капитан налил водки. – С женщинами развлечения без вина вполне невинные развлечения.

– Да вы шалун! На донышке! На донышке!

Хлопнув по «фужеру», они добавили по другому. У капитана смягчился взгляд, а у Анны Семеновны заострился. Капитан добродушно рассказал о «сциллах и харибдах» плавания, дал авторучку Анне Семеновне, и та поставила крупную закорюку в журнале.

– На память, – неожиданно сказал капитан.

---

<sup>8</sup> Право первой ночи.

<sup>9</sup> Истина в вине.

– Позвольте, а это что? Блок? – Анна Семеновна вертела в руках томик Блока. – Увлекаетесь Блоком? Ты гляди, довоенный!

– По правде говоря, глядеть тошно на тех, кто им увлекается! Блок! Цветаева! – не ясно было, вкладывал ли в эти слова капитан свой или чей-то уничижительный смысл, но говорил спокойно. – Что, спрашиваю, Блок? Что – Цветаева? Думаете, кто ответил? Было тут как-то двухнедельное «погружение». «О, это-о!..» А чего это, никто не ответил.

Анна Семеновна подхватила мысль капитана и развила ее до абсурда, заявив, что Блока можно только ненавидеть за недостижимость провозглашенного им женского идеала. Этому идеалу, конечно, могла бы соответствовать та же Марина Цветаева, но, увы, не соответствовала. Капитан, однако, не согласился с этим. «Надо же, – подумал он, – чтобы успеть за женской мыслью, надо бежать сломя голову». Интересный вышел разговор.

Так на вопросах искусства и расстались. Искусство не выносит расставаний, искусство предполагает новые встречи. А капитан тем временем сосредоточился на мысли о том, зачем старушкам ожерелья и прочие кольца. Старухи в жемчугах, как сухие деревья в повители. Он вспомнил вдруг о высохших кустах вблизи своей дачи, задушенных повителью.

В первый же вечер и ночь не было ничего нового и неожиданного. Все напились, всю ночь пели, плясали, блевали за борт, а под утро расплозлись по каютам. Кто-то уснул на ящике с песком.

Следующим утром случился маленький инцидент. Анна Семеновна с молодой коллегой, доцентом Блиновой, прогуливалась по палубе. Навстречу им шел капитан Дерейкин. Вдруг доценту показалось, что сбоку прошла крыса, и она едва не бросилась со страху капитану на шею.

– Крыса! – вскрикнула она.

– Ну и что? – спросил капитан, отстраняясь. – Обыкновенная крыса. Крупная мышь.

– Разносчик заразы! – глаза дамы были круглы, как и ее рот.

– Не только, – невозмутимо ответил капитан. – Прежде всего она разносчик культуры. Чем выше культура, тем больше крыс. «Красной Москвой» изволите душиться?.. Простите, у меня дела.

– Это поразительно: его больше заботит, как себя чувствуют на корабле не женщины, а крысы! – раздался разочарованно-возмущенный голос доцента.

– Ксения Львовна, вы что, не видели крыс? – услышал капитан голос Анны Семеновны.

«Не хватает мне заботиться о чувствах дам, – подумал он. – Только начни, заботам не будет конца. Что чувствует крыса, сталкиваясь с людьми? Соглашается с ними, что она вредный грызун?»

Вечером в капитанской каюте раздался стук в дверь и зашла Анна Семеновна.

– Позвольте – на краткую ау-ди-энцию? Капитан, забыла спросить вас днем! Почему вас вчера не было видно на танцах?

– Я невидим, мадам.

– Почему бы вам не спуститься с высоты капитанского мостика на грешную палубу и не станцевать с дамой хотя бы один танец? Какую-нибудь румбу? У вас же тут сплошные румбы и ямбы. Ведь ваш корабль, капитан, создан для танцев! Он настоящая плавучая танцплощадка! – Анна Семеновна притопнула несколько раз ножкой. – Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно!

– Потому и не хожу, что у нас в трюмах опасный груз.

– Невольницы?

– Пороховые бочки. А я, когда танцую, очень сильно стучу ногами о палубу. Боюсь, от детонации мы все улетим к чертовой матери!

– Ах, какая прелесть! И что удивительно, ни тени улыбки на вашем мужественном лице! Почему бы вам не улыбнуться, капитан? Улыбка так освежает! И вдохновля-а-ет дам, между прочим. Капитан, капитан, улыбнитесь!

– Ценность улыбки возросла с изобретением зубных протезов.

Капитан оскалил зубы.

– У вас прелестные зубы!

Капитан помрачнел.

– А вы все в танцах, мадам?

– Да, знаете ли, и всю жизнь!

«Стрекоза», – подумал он.

– Что же, всю жизнь так вот и пляшете?

– Сперва пела. А потом, как нас зимой взяли в прохладительную поездку, только и делаю, что пляшу.

– Как это, прохладительную?

– Этапом! В те славные еще времена. Так вот, чтобы не замерзнуть тогда в вагоне, попросту не околеть, надо было плясать сутками и неделями. Плясать, плясать, плясать! Вот и плясала. Без сна и без еды. На одном революционном энтузиазме.

– То-то вы худая такая. Стройная, – поправился капитан.

– Тот, кто хочет продать слепую лошадь, хвалит ее ноги, – говорят немцы, – рассмеялась Анна Семеновна. – От худой жизни толстой не будешь. А танцы стройнят.

Анна Семеновна бросала на пирата взгляды и прямо, и сбоку, и распахнутым глазом, и прищуром, и застывшим, и подмаргивая. Испробовала все. Гранит. А может, слеп? Она провела ладонью у лица капитана. Тот проводил ее ладонь холодным взглядом. Небольшая, но крепкая ручонка!

Капитан хорошо знал: какие бы взгляды ни бросала женщина на мужчину, какие бы комплименты ни сыпала ему, она делает все это исключительно ради собственного удовольствия или выгоды. Рациональная точка зрения, выверенная жизнью.

– Вы так скупы на слова! – сказала Анна Семеновна, вложив в них как минимум три смысла. При всей своей многословности и фееричности Анна Семеновна в мужчинах ценила сдержанность и молчаливость. Настоящий мужчина, по ее мнению, должен напоминать пограничный столб, по сию сторону от которого чувствуешь себя уверенно и дома.

– Увы, если мужчина станет говорить столько же, сколько говорит женщина, ему не хватит жизни.

– Оттого вы меньше живете! Меня звать Анна, а вас, капитан?

– Дрейк. Фрэнк Дрейк, – сипло представился капитан.

– О! – воскликнула Анна Семеновна и стала сыпать английские фразы вперемешку с латинскими, на которые капитан реагировал одинаково: никак.

Правда, один раз у нее вышла досадная осечка, но капитан, видимо, не имея классического образования, к счастью, ее не заметил. Анна Семеновна воскликнула: «Imago animi vultus» («Лицо – зеркало души»), и тут же прикусила губу. Если на опаленном огнем лице капитана остались такие рубцы, что же было у него, у бедняги, с душой? Она подавила прищелку то и дело выражаться по-латыни, но не выражаться вообще.

«Аудиенция» явно затягивалась. Дрейк уже пару раз поглядывал на часы. Даже встал, прошелся по каюте взад-вперед, постучал пальцами по томику Блока.

– Позвольте, капитан? – Анна Семеновна потянулась за книгой, полистала страницы. – Я вижу, вы любите его, вон какие захватанные страницы.

– У меня руки по локоть в крови.

– Шутник! А сами не пишете стихи? У вас удивительно поэтический взгляд на мир, и у вас та-кие глаза...

– Нет, воздерживаюсь. Хотя слово люблю.

– Это заметно. Только истинно ценящий слово скуп на него. Я имею в виду, разумеется, вас, мужчин, – вздохнула Анна Семеновна. – Жаль, что не пишете, жаль. А то я организовала



литературный журнал, два дня тому уже объявила всем. А в вас я вижу талант незаурядного полемиста.

– Вам дали разрешение на издание журнала?

– Разрешение? Мне? Еще нет, дадут, это тьфу, – махнула рукой будущий главный редактор. – Не берите в голову!

– Я и не беру, – усмехнулся Дрейк. – Вообще-то в юности я забавлялся пиратскими историями. На радио выступал...

Анна Семеновна даже подскочила:

– Да что вы говорите! О пиратах? На радио?! Это же колоссально! В наше-то время, когда самый большой континент – Малая земля, – это же сногшибательно! Да меня проридает всю от одной только мысли о пиратах! Эх, к ним бы попасть, а? – Анна Семеновна кровожадно взглянула на капитана. – Все, кэп, замetano! Как только оказываемся на суше, вы тащите мне все про пиратов! *Scripta manent!*<sup>10</sup>

– Прошу прощения, Анна Семеновна, мне пора на подушку, Морфей ждет. Этот разбойник – почище пиратов.

– О! Уже час ночи! – ужаснулась Анна Семеновна. – Простите, капитан, я несносна! Посмотрите, какая в небе луна! Сейчас вся Япония сходит с ума по полной луне!

– Полнолуние – время безумств и лопнувших куриных яиц, – заметил Дрейк.

Под утро Дрейк вышел на палубу, сел в кресло, закурил и задумался о предстоящей пенсии. О ней он никогда раньше не думал, знал только, что она впереди по курсу, где-то потом. «Что же я буду делать на ней?» – подумал он и поежился. Предутренняя синева веяла прохладой. Теплоход, дрожа телом от натуги и старости, плелся навстречу собственной пенсии. «Странно, что сейчас можно спать», – подумал капитан. Был синий час прозрачных мыслей, чистый и светлый час. В сутках, пожалуй, нет другого такого часа.

Два дня разговоры, вернее, пикировка Анны Семеновны с капитаном при случайных, а может, и преднамеренных с ее стороны встречах носила общий характер:

– Капитан!

– Да, мадам?

– А покажите-ка мне ваш линкор изнутри!

– Вас интересует галльон?

– Но эти ступени ведут в трюм.

– Да, мадам, в трюм.

– А эти – на мостик?

– Вы совершенно правы, на мостик.

– Помните, как у эллинов...

– Помню, очень свежо!

У боксеров, как известно, хорошая реакция сохраняется на всю жизнь. У Дрейка же, в юности занимавшегося боксом, реакция была вообще мгновенной на любой удар, даже в форме летящего язвительного слова или безобидного острого словца. Жизнь закалила. Надо отдать ему должное: при этом он вел себя великодушно, как осознающий свою силу и превосходство противник. Дрейк или уходил от удара, или упреждал его, парировал, понапрасну не оскорбляя нападающего. Он наперед знал, куда ударит противник, ибо болевых точек у человека не так уж много, и главная из них – самолюбие.

Анна Семеновна решила взять быка за рога. Пожалуй, у такого рогов никогда и не было, подумала она. И это ее вдохновило. О танцах тема исчерпала себя. Нужна новая.

– Почему вас не видно вечером на палубе, капитан?

– Мне положен отдых, мадам.

---

<sup>10</sup> Написанное остается!

- Отдых? От чего?
- От дел.
- О, простите! А когда же вы их начинаете?
- В четыре утра, на рассвете.
- Что вы говорите? То-то вас не видно в обществе!

На следующий день Анна Семеновна с трудом продрала глаза в четыре часа ночи («утра»!) и, пошатываясь, вышла на палубу. В кресле курил мужской силуэт. В полумраке это было очень красиво.

– Позвольте огоньку? – хрипло обратилась Анна Семеновна к силуэту и: – Позвольте? – села рядом.

Силуэт щелкнул зажигалкой. Коллеблющийся свет упал на лицо.

– Это вы, капитан? – Анна Семеновна задула огонек. – Предпочитаю прикуривать. Старая военная привычка.

- Воевали?
- У Доватора. А вы?
- В разведке.
- Швейцария, Берн?
- В Швейцарии, точно, Берн, а в Полесье болота. «Беломор»?
- Какое зрение у вас!
- По запаху.
- «Беломор», кэп. Это, капитан, наша общая с вами судьба. Но скажи мне кто повторить ее еще раз – ни за что!

– Женщине подходит имя Нетнетнизачто, – сказал капитан. – Я несколько месяцев провёл на Севере. С берега наблюдал за передвижением кораблей. У меня тогда был один только шоколад и трава. Шоколад кусковой, горький, приличный шоколад, сейчас такого нет. Мешочек сухарей. Ручей с хорошей водой. Фляжка со спиртом. И нескончаемые дни и ночи, закаты и рассветы.

– Как хорошо вот так встретить утро, рассвет... Полюбоваться луной... Завидная у вас профессия, капитан! Везет же мужчинам: вы можете быть капитанами!

– Кому везет – тот и везет.

Ответ Дрейка привел Анну Семеновну в восторг.

– Все-таки как мало у нас женщин не только капитанов, но и в политике, – продолжила она, собираясь затем перевести разговор на себя. – Оттого и безобразий много, и жизнь плоха.

- Женщины идут в политику не от хорошей жизни, а – к хорошей.
- Все-таки в политику идет больше мужчин.
- Вот не думал, что вы феминистка. Не спится?
- Да вот что-то... – Анна Семеновна сбилась с мысли, зябко поежилась. – Свежо, однако.

Не мерзнете?

- Надо чем-нибудь заняться, – посоветовал капитан, – коль не спится.
- Пробовала. Не получается. Разве что – спиться?
- Понарошку пробовали, – не отреагировал Дрейк. – А вы займитесь всерьез. Прямо сейчас.

- Вы серьезно? Чем?
- Поднимайте своих олухов на генеральную репетицию! Кстати, в десять часов будем в Константиновке.
- Да что вы говорите! В десять часов? Где тут у вас колокольчик?
- Есть ревун.
- А можно?
- Почему ж нельзя? Гена! Гена! Уснул, что ли? Посмотри, там впереди никого?

– Пусто, вроде.

– Ну-ка ревани!

– Да вы что, капитан!

– Ревани, ревани! Аврал!

От рева пробудился весь корабль. Кто выскочил, кто выполз на палубу.

– Что? Что случилось? Пожар? Тонем?

– Внимание! – раздался усиленный мегафоном голос Анны Семеновны. – Начинаем генеральную репетицию! Рейд Первой Конной!

Труба разбудила мертвых. Птицы заорали по берегам.

– Первая Конная! Запе-е-вай! «Мы красная кавалерия, и про нас буденовцы речистые ведут рассказ!» – Анна Семеновна маршировала, а ей в затылок выстроились ряды горластых и не протрезвевших буденовцев. От выдыхаемого ими перегара чайки с высоты падали замертво, а внизу их добивали стальные звуки трубы и мужских глоток. Девушки от восторга шалели. Орала кавалеристы отчаянно. От топота их ног проседала палуба, и корма виляла, как зад трусливого пса. Утренняя зорька стыдливо вспыхнула, но ее тут же безжалостно смял лихой эскадрон. Эх, где там Исаак Бабель? Вниз по реке с песнями и плясками сплавлялся то ли пиратский барк, то ли баржа с анархистами. Два рыбака в плоскодонке справа по борту побросали снасти, улов и попрыгали в воду. Дрейк давно не получал такого кайфа. Разве что, когда испанское корыто делало на его глазах поворот оверкиль. А так – это скользкий на полном вооружении кильватерный строй!

– Мадам! Я немею! Я тащусь! – Дрейк удивился: откуда у него эти слова? Не иначе, от студентов набрался.

Анна Семеновна, потеряв в этом реве лет тридцать, блеснула глазами и играла телом. Концы красной косынки трепетали вокруг ее головы. По швам расплзалась кофтенка. Белые спортивные тапочки не поспевали за ногами. И разве прав тот брюзга, кто уверяет: чем меньше остается жить, тем меньше, кажется, жил?

Три с половиной часа корабль был в агонии генеральной репетиции. Тяжело дыша, подошли к берегу. Лягушки дружно попрыгали в воду. Пристали к острову, на котором сто двадцать лет назад беглые каторжники основали селение. Река обнимала остров, и эти объятия тянулись на двадцать верст. Ниже острова оба рукава реки встречались друг с другом и уже неразлучно текли почти до самого устья. Когда-то на острове был и лесок, и степь, и перелески, а сейчас поселок, поля подсолнечника, чахлой кукурузы, свиноферма и несколько крупных пасек.

– Константиновка!

Капитан помогал женщинам сходить по трапу на берег. Дамы, вступив на шаткий трап и балансируя на краю пропасти, вскрикивали и жадно оглядывались в ожидании помощи. Дрейк благодушно бубнил:

– Ручку, мадам. Осторожней, не оступитесь. Вашу ручку, мадам.

Анна Семеновна потом раза три воскликнула:

– Я коснулась его руки, и меня тут же пронзили десять тысяч ампер!

Не исключено, правда, что амперы прошибли ее изнутри.

На встречу «Клары Цеткин» вышло все население поселка. Агитбригаду встретили хлебом-солью, водкой и малосольными огурцами. Провели на центральную площадь. Пока вели, туда-сюда мотались пацаны, носились мотоциклы и велосипеды. Под глухой стеной спортивного зала школы были сбиты по случаю специальные подмости для каблучков артистов из областного центра. Публика в выходных платьях и платочках лузгала семечки. Кто был в костюмах и галстуках, от семечек воздерживались. Солнце свисало над площадью, как золотой медальон. Официальное лицо, вытирая пот с красного лица, торжественно объявило начало концерта.

Несмотря на довольно-таки жаркий день, концерт удался на славу. Декламация и «речевки», гопак и трепак, хор и частушки, черные юбочки с белыми кофточками, папахи и буденовки, цыганские шали по плечам, руки в бока, шеи изгиб, ножки притоп, ручки прихлоп, глазки горят, зубки блестят, ах, молодость и задор! Зрители утирали слезы, так как было много чего и смешного, и печального. Артисты умывались соленым потом искусства. Анна Семеновна была всюду одновременно. От нее исходили энергетические потоки, на ней сходились лучи славы. «Триумф!» – раз сто воскликнула она.

После концерта часа в три пополудни состоялся грандиозный обед. Такого обеда остров не помнил уже лет сто. Последний раз так гуляли, когда на остров впервые ступила нога генерал-губернатора, от своих щедрот одарившего поселян продуктами питания, мануфактурой и выпивкой на год вперед. Станный по тем временам поступок! Он и сейчас выглядит несколько странно.

Вечером все отдыхали, а кому не могло, уединились в зеленой зоне. Благо, остров был большой, и места всем хватило.

Анна Семеновна так увлекла капитана на прогулку и шла рядом с ним, подпрыгивая и отмахиваясь от гнуса веточкой. Будто и не было позади репетиции, концерта, многих лет стремительно промелькнувшей жизни!

– Ах, какая прелесть! Какая первозданная прелесть! Вы только посмотрите!

– Только что посмотрел, – сказал Дрейк.

Анну Семеновну невозмутимость капитана приводила в восторг.

– Кэп! Вы прелесть что такое!

– Что такое? – поднимал седую бровь кэп.

Анна Семеновна поняла, что вот он тот единственный мужчина, который во всем мире нарасхват, вот она та самая половина, которую можно искать всю жизнь и так и не найти никогда, если только крупно не повезет хотя бы в конце жизни. Нет, не в самом конце, а где-то перед закатом. Ведь самое красивое в природе, если не брать восход, это закат. И не такое уж печальное это событие, а очень даже радостное и красивое.

– Капитан! Мне радостно сегодня! Как на катке или на параде Победы.

– Вы жили в Москве?

– Детство провела в Питере, а потом жила в Москве, Казахстане, снова в Москве. Где я только не была! В Бельгии не была, в Испании не была, в Голландии не была! Где я только не была! В Голландии в 1620 году за одну луковицу тюльпана можно было купить в Амстердаме три дома! – вспомнила вдруг Анна Семеновна.

– А я был как-то в Испании...

### Глава 3. Пираты в камере

Шаги их затерялись на глухих тропинках острова, голоса заглохли, слова упали на землю и проросли корнями. Над зелеными кронами деревьев висело солнце. Птицы летали высоко в небе. До заката казалось еще далеко.

– Вот так я и оказалась тут, – закончила свою историю Анна Семеновна.

Она всю дорогу рассказывала о себе и превратностях судьбы, и ей очень хотелось оценить впечатление, которое произвел на капитана ее рассказ. Увы, похоже, никакого. Он шагнул рядом в глубокой задумчивости.

– Вы не слушаете меня? – разочарованно спросила Анна Семеновна. Она-то была уверена, что рассказ о том, как ее с родителями репрессировали, заинтересует капитана. Увы, увы... Пожалуй, такого ничем не прошибешь, жаль...

– Почему же не слушаю? – возразил тот. – Очень даже внимательно слушаю. Ваша история напомнила мне историю одного семейства. Были у меня знакомые, Чельшевы, – капитан посмотрел на нее, словно надеясь услышать: «Как же, знаю!» Помолчав, продолжил: – Их уже нет никого... Но сперва я вам расскажу о себе. В сороковом году меня ведь тоже арестовали, вернее, заключили под стражу. Не буду вдаваться в подробности, за что. Собственно, ни за что. Меня спасли, не поверите, мои рассказы.

– Поверю, – согласилась Анна Семеновна. – Вас сейчас спасет тоже только какой-нибудь рассказ. О пиратах!

Капитан посмотрел на нее, усмехнулся.

– О пиратах? Надо же, о пиратах. Как раз рассказы о пиратах меня и спасли. Ну не спасли, так предохранили от ряда неудобств. Тогда я, правда, был куда речистее. Ладно, попробую.

– Это репетиция. Жаль, магнитофона нет. Потом запишем – и в первый же номер журнала!

– Арестовали меня вечером, – начал капитан, – всю ночь допрашивал следователь, о чем, я так и не понял, а утром отвели в камеру, где было не меньше десяти человек. Я повалился на тюфяк и тут же уснул. Проснулся оттого, что в ногах сидел мужик и, посмеиваясь, что-то спрашивал у меня. Как зовут, понял я, и отмахнулся от него, как от мухи. Тогда он шильцем кольнул меня в ногу. Пришлось стукнуть его разок. «Ого!» – послышалось со всех сторон.

– Капитан, вы мастерски рассказываете!

– Но больше ко мне не подходили. День тянулся вечность. Я дремал, сбоку играли в карты. Проиграл тот, с шильцем. «Проиграл, Хрящ, – сказали ему. – Давай!» Он как-то затравленно взглянул на меня. Вечером на допрос меня не вызвали. Все как-то быстро уgomонились и уснули. Я долго лежал без сна, но потом незаметно уснул. Засыпая, чувствовал на себе волчий взгляд. Приснилась одна знакомая. Ее звали... Фелицата было ее имя...

– Редкое имя, – Анна Семеновна посмотрела на бесстрастное лицо капитана. Ей послышалось, что голос его потеплел на этом имени.

– Редкое, – согласился Дрейк. – Она провела рукой со свечой перед моим лицом. Я вздрогнул, открыл глаза и успел перехватить руку с шилом. Это был Хрящ. Ударил его. Хорошо ударил. Никто не пошевелился, но я чувствовал взгляды из темноты. Утром его унесли. А меня только вечером вызвали к следователю.

Следователь тихим голосом задавал мне вопросы, глядел на меня тусклыми глазами и, похоже, собирался продолжать допрос до утра. Собачья работа, да к тому же ночная... Свет в кабинете, как и не свет был, а как прощание со светом. Гвоздев, его звали Гвоздев, был приятелем Ольги, а Ольга была свояченицей Изабеллы, моей... невесты...

– У ваших женщин такие красивые имена! – не удержалась Анна Семеновна.

– У каждой женщины красивое имя. Анна – чем не красивое? Прекрасное имя! Так вот, следовательно ни разу не сорвался, хоть и уточнял все по три раза. Но о пиратах ни слова не спросил, хотя знал, что уж о ком, о ком, а о пиратах я много чего мог рассказать. Он даже на прощание сказал: «Это хорошо, что вы не стали заливать мне о пиратах. Мой вам совет, Дерейкин: позабавьте задержанных своими рассказами. Они это страшно любят».

На следующее утро меня окружили семь человек и молча разглядывали. Восьмой спал, а еще один лежал и поглядывал в нашу сторону. Не справиться, подумал я. Разглядывали молча, минуты три, целый раунд. «Чего молчишь? – произнес, наконец, один из них. – Давай про пиратов!» «Каких пиратов?» «Самых мерзких и отвратительных!» – захохотал тот. Ну, я и дал.

«Когда я в первый раз попал в Карибское море, – начал я, – на одном из четырех кораблей экспедиции Джона Лоувелла, я был простым матросом, хотя до этого уже плавал на пятидесяти тонном барке «Юдифь» в качестве капитана и судовладельца. Сначала мы толклись возле Гвинеи, раскулачивая португальцев. Негры, воск, слоновая кость, мушкеты, женские побрякушки, всякая дребедень. Какое-то время мы пробавлялись этим, а потом подались в Карибское море. Там мы соединились с французской эскадрой под командованием Жана Бонтемписа и бросили якорь возле городка Рио-де-ла-Хача, это на колумбийском побережье, где между пальмами не поймешь, кого больше, диких свиней или алькатрасов. Городок самый паршивый, но на картах отмечен. Там Лоувелл вступил в переговоры с главой местной администрации Каstellаносом о том, как им ко взаимной выгоде оформить сделку на продажу девятиста негров. Негры все один к одному, мускулы – во и голос, как у Поля Робсона. Мы же тем временем отдыхали от изнурительного похода на берег, предавались пьянству и чувственной неге.

У Бонтемписа был некто Рауль, его полное имя мне неизвестно. Он был чем-то вроде адъютанта. Ничего не скажешь, расторопный был малый, хват, но чрезвычайно заносчивый, как истинный француз. Мы с ним схлестнулись в первый раз в таверне старой Хуаниты из-за последней бутылки водки. Наши две армады вывернули наизнанку все закрома местных жителей, хорошо нажившихся на нас. Мы начали торговаться с четырех реалов, и дошли до четырехсот. У седой Хуаниты глаза вылезали из орбит и тряслись руки. Никогда еще она не продавала водку по такой бешеной цене. Даю голову на отсечение, у нее наверняка была еще припасена бутылочка-другая. У Рауля кончились монеты, и он попросил отложить наш аукцион, пока сбегает за кошельком. Поскольку это было не по правилам, я поклонился ему и поздравил с проигрышем. Нас окружали зеваки, большей частью британцы и несколько испанцев. Они тоже стали кривляться и раскланиваться перед французом и рвать с головы шляпы. Испанцы терпеть не могут французов-протестантов. Я отдал Хуаните четыреста семьдесят реалов и протянул бутылку Раулю, с тем, чтобы распить с ним мировую. Тот оттолкнул мою руку, резко повернулся и ушел, бормоча под нос проклятия.

Повторюсь, я в тот раз был не капитаном «Юдифи», а простым матросом, но среди экипажа меня, несмотря на мою молодость, все выделяли и никто не смел задирать меня или обходиться со мной заносчиво. Британцу я такого поведения, какое позволил себе Рауль, естественно бы не простил, но из-за французика не хотелось портить международные отношения. Вообще-то на дуэль смотрели просто, как на стаканчик эля. Хочешь на саблях биться – бейся, хочешь стреляться – стреляйся, хоть с пингином, если у того есть оружие. Главное, не выстрелить в безоружного и, не приведи господь, в спину. Тут же вздернут на первом суку.

Так вот, во второй раз наша стычка носила уже принципиальный характер. Я бы даже сказал, религиозно-классовый. Я все-таки происхожу из семейства добропорядочных фермеров. У нас в роду были священники и капитаны, а Рауль был деревенский выскочка, и хотя он сам был вроде как протестантом, а не ревностным католиком (хотя, как мне показалось, ему было плевать на все конфессии в мире), он позволял себе открыто и довольно плоско насмехаться над протестантами-англичанами. «Простота хуже воровства», – заявил он бедняге Смиту, когда тот спьяну вздумал доказывать ему преимущества обрядов протестантской



церкви над католической. Смиты бы в тот день было помолчать и отоспаться, но он распалился, вызвал Рауля на поединок, тот и прихлопнул его, как муху. Инцидент был замят в связи с отходом наших эскадр из Рио-де-ла-Хача.

Пройдя несколько десятков миль, мы заметили три испанских корабля. На двух были негры, маис, куры, тыквы, а на третьем, самом большом, серебро и богатое мужское и женское платье. Из-за этой третьей посуды мы вынуждены были остановиться и высадиться на берег, чтобы поделить между нами и французами добычу. Хотя и французы захватили корабль с серебром, по правилам дележ проводился поровну между всеми экипажами. На кораблях было пятнадцать молодых женщин. Семь достались нам, а семь французам. Из-за пятнадцатой, красавицы Изабеллы, собственно, все и произошло.

Лоувелл и Бонтемпе поступили весьма разумно, отказавшись оба от лакомой добычи, так как она могла стать источником ненужных раздоров. Как показывает опыт, ничего нет печальнее раздоров на пути домой. Очень часто успешные экспедиции заканчиваются крахом, а корабли, полные золотом, горят и идут ко дну. Лоувелл предложил Изабеллу мне, а командир французской эскадры – Раулю. Подозреваю, Бонтемпе неспроста сделал это, так как стал подозревать своего помощника в недобросовестности и надеялся с моей помощью избавиться от наглого парвеню.

Изабелла была женой владельца корабля, удачливого купца и работоторговца, убитого при стычке, красавица, каких мало по обе стороны Атлантики. Впрочем, она его не любила. О, эти горделивые испанки! Помню, мы взяли в плен одного испанского дворянина. «А! Опять купец! – брезгливо бросила Изабелла. – Дворянин-торгаш – не дворянин!» «Вам милее кавалеры в лохмотьях?» – спросил я. «Мне милее их честь! – ответила она. – Наши предки – с гор Астурии! Они изгнали мавров из Кастилии и Арагона, Леона и Гранады. Все они истинные кабальеры».

Это была изнеженная красота, ей бы блистать в дворцах, пленять своей грацией грандов. Какие у нее были глаза, какие глаза!.. Ах, Изабелла, Изабелла! – Дерейкин на мгновение зажмурился и представил себе глаза Изабеллы Челышевой, огромные и страстные не по годам. – Думаю, в рощах и возле фонтанов валялся бы не один десяток ее поклонников, проткнутых более удачливой шпагой. Просто удивительно, что она делала в этих широтах под палящим солнцем и немилосердными ветрами. Как вообще она оказалась замужем за презренным торговцем? Многомесячное плавание, прямо скажем, не в аристократической компании, с дурной водой, недоброкачественной, хотя и предназначенной для стола избранных, провизией... Ну, да куда только не забросит судьба женщину, муж которой занят таким беспокойным делом, как работоторговля! Ей прислуживали две рабыни. Рабыни за женщин не почитались, с ними порой обходились хуже, чем с собаками. Изабелла попросила оставить ей рабынь, что было незамедлительно исполнено. Было даже странно наблюдать такую покорность со стороны ожесточенных и очерстевших душой пиратов. Я думаю, это было сделано опять-таки из-за взаимного нежелания идти на конфликт. Нам с Раулем предложили на выбор традиционный набор средств разрешения конфликта: аукцион, договор или дуэль. Когда стороны не хотят рисковать или терять большие деньги (что, впрочем, случается крайне редко), они договариваются владеть пленницей по очереди, а потом передают ее команде или продают кому-нибудь из аборигенов, с которым она могла бы наплести не одну тысячу и одну ночь.

Рауль тут же предложил аукцион. Он на этот случай специально захватил с собой объемистый кошель со звонкой монетой, а в толпе маячил его приятель с запасным, думаю, не менее объемистым кошельком. Если бы я согласился, скорее всего, Изабелла досталась бы ему, так как со мной была явно недостаточная для выкупа сумма, всего несколько сотен реалов.

Я выбрал дуэль. Обязательным условием было непременно согласие обеих сторон с одним из вариантов. Рауль от дуэли отказался. Но отказался весьма изящным способом: он процедил, что ему жаль оставлять английскую эскадру без такого доблестного моряка, как я.

Оставался договор. Опять-таки, мы вынуждены были принять его, так как остальные возможности мы сами же и отвергли. Нас неправильно могли понять наши коллеги. Заключили договор. Договор состоял в том, что мы решали, на какой срок пленница переходит к нам, а решить, к кому ей идти первой, она должна была сама. Нет, она не падала нам в ноги, не ползала по песку, не умоляла и не рыдала, она только сказала, спокойно переводя свой взгляд с Рауля на меня и обратно:

«Я буду принадлежать тому и только тогда, кому отдам свое сердце и когда сама захочу этого. Мне все равно, кто будет первым. Первые все равно не вы! Можете тянуть жребий». Она произнесла это по-испански, а затем повторила по-английски и по-французски. Всех невольно восхитило мужество и гордость этой женщины.

«Итак, – сказал я, – непереносимое условие: никакого насилия над ней».

«Хорошо, – с ироничной улыбкой согласился Рауль. – Можно это даже записать, а нам расписаться. Кровью!» – рассмеялся он.

Изабелла презрительно посмотрела на него.

Жребий выпал Раулю. По договору неделю она принадлежала ему, неделю мне, а затем я, как последний ее хозяин, решал ее судьбу: оставить у себя, отдать команде или продать.

Через неделю состоялась торжественная передача пленницы. У нее был несколько изможденный вид, но красота не поблекла, а только стала еще более выразительной. Я спросил ее: было ли оказано насилие над ней со стороны первого хозяина? Если бы таковое было, по условиям договора Рауль был бы изгнан из эскадры, без права возвращения к нашей благороднейшей профессии.

«Нет, он выполнил обещание», – презрительно улыбнулась она, красноречиво поглядев на руку француза.

Его рука была перебинтована и висела на перевязи. Рауль был явно смущен этим.

Я отвел Изабеллу в дом, где располагался со своими рабами, и предоставил отдельную комнату. Она попросила меня вернуть ей двух рабынь, без которых испытывает известные затруднения.

«Разве Рауль не вернул их вам?»

«О рабынях вы с ним в своем договоре забыли упомянуть».

«О, простите нас великодушно...»

«Великодушно? Что ж, это столь редкое качество в этих краях, что я, пожалуй, прощу. Вы только не забудьте вернуть мне и Софию и Марию. А то здешний климат плохо сказывается на мужской памяти».

«Скажите, сеньора, рану Раулю нанесли вы?»

«Нет, – улыбнулась Изабелла. – Вот эта миленькая штучка».

Она вытащила из рукава стилет и провела нежным пальчиком по трем его граням.

«Ой, порезалась».

«Соблаговолите принять», – я протянул ей кружевной платок с вензелями «Ф» и «Д».

«Благодарю вас. Это излишне», – Изабелла спрятала стилет и стала поднимать порезанный палец к губам.

Я поддался порыву и перехватил ее руку. Я поднес ее к своим губам и поцеловал ранку. Кровь показалась мне сладкой.

«У вас сладкая кровь», – невольно вырвалось у меня.

«Что, у других пленников она горчит?»

Я невольно рассмеялся. Недобрый огонек в ее глазах погас. Она тоже улыбнулась.

«Довольно, мне уже не больно, – сказала она, отнимая руку от моих губ. – Вы мне предложите постель, воду и еду?»

«Он что, издевался над вами?»

«Нет, сначала он мне предложил стать его наложницей, и клялся осыпать меня золотом и изумрудами. Когда я ему отказала, он попытался овладеть мной силой, демонстрируя свои мужские достоинства и красочно расписывая утехы, которые ожидают меня, но я жестоко высмеяла его. Двое суток он потратил на уговоры, а потом распорядился давать столько еды и питья, чтобы я только не умерла с голода и от жажды. А спать разрешал не более трех часов в сутки. В остальное время меня будили его люди. Зато в последний день он заявился ко мне с царскими дарами, засыпал подарками, вниманием и обхождением. Стал угощать вином, яствами, но я сразу же почувствовала в вине привкус снотворного снадобья (я прошла эту школу в Венеции) и не стала пить. Тогда он велел мне выпить бокал, и тут я...» – Изабелла не удержала зевок.

«И тут вы вытащили эту миленькую штучку с трехгранным жалом? Вот ваше ложе, сейчас вам принесут все необходимое. Спокойной ночи, сеньора».

«Благодарю вас, – произнесла Изабелла и опустилась на ложе. – Простите меня, у меня не осталось никаких сил...»

Самое интересное началось у нас с Раулем, когда закончилось мое недельное право на пленницу. Он пожелал задать вопрос, не прибегал ли я по отношению к ней к насилию.

«Нет, не прибегал, – с насмешкой ответила Изабелла. – Разве вы не видите, его рука не болтается на тряпке».

Взбешенный Рауль занес над ней руку, но я успел перехватить ее. Француз стал вырывать свою руку из моей, но у меня рука достаточно цепкая, и я не выпустил ее. Тогда Рауль выхватил кинжал левой рукой и точно вонзил бы мне его в правый бок или в спину, но Изабелла обеими руками схватила за него. Брызнула кровь из ее порезанных пальцев. Рауль замешкался, и я ударом кулака свалил его на землю. Зрители стали кричать: «На рею его! Повесить! Вздернуть!»

Я велел позвать Бонтемпса, чтобы он забрал своего помощника и сам решил его участь.

В Изабелле я нашел самую преданную женщину, какую только мог отпустить Господь мужчине. Нет, мы не были с ней близки, как можно было предположить, но сколько интереснейших бесед провел я с ней, Бог тому свидетель. Эта Изабелла оказалась родственницей Изабеллы Розер, той самой Розер, которая помогла Игнатию Лойоле в организации ордена иезуитов. Тайком от всех я переправил потом Изабеллу на родину».

– Надо же, я помню тот рассказ слово в слово, – сказал капитан. – А ведь прошло сорок лет...

Он чувствовал дрожь в теле. Видно, вся его прошлая жизнь застоялась в нем, как дурная кровь, и искала выход.

– А дальше? – по-детски простодушно воскликнула Анна Семеновна.

– Дальше? «Нашел из-за кого на дуэли драться – из-за бабы!» – фыркнул тот, что предложил мне начинать свой рассказ. «Что?» – спросил я. «Из-за бабы...» «Предупреждаю, это Дама моего сердца». «Из-за бабы, говорю, драться!» – завелся тот. Глаза его налились кровью, лицо и шея побагровели, а руками, растопырив ладони, он брезгливо мотал над землей. – Из-за сучки...» Прошу прощения, сударыня... Пришлось ударить его разок. Я сел на свое место. Воцарилось молчание.

«Там, в твоих сказках, небось, не баланду едят, а окрошку с мясом трескают?» – спросил хмурый мужик, ласково взглянув на упавшего.

«Окрошки с мясом не было, сразу должен сказать. Сало было. Сухари двойной прокалки. Черное вонючее сало, скользкое и горькое, да труха из хлебных крошек, червей и мышиноного кала. А запивались эти яства зеленой водой, протухшей год назад, с амебами и инфузориями-туфельками. И вообще, быт и общий вид у нас был еще тот, – я оглядел всех. – У вас тут еще пристойно. Бурая плесень в трюмах, где белая, где зеленая, а где просто черная, прогнившая палуба, башмаки проваливались в гниль и труху, растрепанные паруса, составленные

из кусков грот и бизань... И, венец вселенной, беззубые, задристанные, опухшие оборванцы, куда вам до них! Да еще к этому нескончаемые ночи. Жуткие ночи в тропиках, когда во сне оплавляешься, как свеча». А закончил я почти как Толстой: «Вообще-то пираты не делали ничего необычного, они зарабатывали на жизнь. Пират – не профессия. Пират – это образ жизни, символ несогласия с жизнью. Можно ли соглашаться с жизнью, в которой хочется стать пиратом?» Помню, после этих слов я встал. Мне вдруг показалось, что передо мной огромная масса людей. Больше, чем в зале, больше, чем на площади, наверное, больше, чем в жизни.

Анна Семеновна согласно кивнула головой. Взор ее блеснул.

«Сундуки с золотом, острова сокровищ, скелеты и черепа, трюмы и бочонки с ромом – продолжил я косить подо Льва Николаевича, – такая белиберда! Но как они пленяют слух, как они будоражат воображение! Недостаток разума и воображения делает из послушного обывателя или батрака отчаянного пирата. Пардон, я отвлекся. Когда Рауль показался на набережной в сопровождении десятка головорезов, у меня сердце дрогнуло, но один только раз. Представьте: набережная, туман, не спеша, мы идем навстречу друг другу. Сошлись под фонарем. Ворвань еще не зажгли. Смеркалось... Обошлись без учтивых фраз и поклонов. Я достал саблю, намотал на левую руку платок и приготовился к обороне. Рауль жестом остановил своих бандитов и напал на меня. У меня не было сомнения в подлости Рауля, но на секунду его жест показался мне исполненным благородства. Правда, он то и дело норовил встать так, чтобы его дружки оказались за моей спиной. Долго бы я не продержался. Едва звякнули клинки, два француза уже были у меня с боков, но тут из-за поворота вывернули мои товарищи. Они молча бежали к нам. Отразив удары Рауля и великана, наседавшего слева, я запрыгнул на валун у отвесной скалы. В нем было углубление, и я мог там плясать, как в чаше, не опасаясь, что мне подрубят сбоку ноги. Когда подоспели мои товарищи, для бандитов Рауля это было полной неожиданностью, и они потеряли сразу же половину своих людей. Вторая половина тут же побросала клинки. Один Рауль с бешеной силой кляцал саблей по камню. Я соскочил на землю и, дав знак своим, чтобы не встречали, напал на Рауля. Я ранил его в грудь и плечо. Чтобы не отдать свою саблю мне, он швырнул ее в воду, а руки скрестил на груди».

– Это потрясающе – Номо Fictus – вымышленный герой! – воскликнула Анна Семеновна. – С ним вы можете стать самым настоящим героем!

– А я и есть самый настоящий герой, – возразил Дрейк. – Указ Президиума Верховного Совета на подходе.

Анна Семеновна торжествовала – в первом номере журнала такая история, замечательно! Она, правда, не врубилась, где в рассказе выдумка, а где ложь. Да хоть все ложь и выдумка! Правда-то она кислая! За милую душу пойдет! На минуту ей показалось, что Дрейк сумасшедший. Да ну, нет, конечно! Выпил? Глаза блестят, но это от рассказа. Актер, стопроцентный актер, хоть в водевиль бери.

Дрейк вдруг произнес:

– Я неплохо знал Монтеня.

– Кого?

– Монтеня, – небрежно сказал капитан. Мы встретились с ним в Лукке, на водах. Это в Италии. Его мучили почки, а меня желудок.

– Значит, самого Монтеня? – сказала Анна Семеновна.

– Я ему сразу не раскрыл своего имени. У меня было от чего болеть желудку... Спирт, вода, сухари с шоколадом – да я говорил уже... – Дрейк вдруг вспомнил те несколько летних месяцев, что провел в тундре, наблюдая за передвижением вражеских судов. Кораблей было не так много, но шли они вдоль берега мучительно медленно, как и не на войне. После передачи данных он не чувствовал облегчения, так как враг приходил и уходил, доставляя ему только безмерную усталость. Чтобы не было цинги, он жевал траву и корешки, отчего у него то и дело

были тщетные позывы на рвоту. За полтора месяца он перестал хотеть есть, а ложку употреблял только для того, чтобы выковыривать ею из себя какие-то козы орешки.

– И что же вы искали, капитан, в дальних краях? – Анна Семеновна уже начала верить, что капитан и взаправду плавал по белу свету под пиратским флагом, не тогда, конечно, но очень правдоподобно, очень!

«Я очень хорошо знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу, – сказал мне Монтень. И еще добавил: – Природой мне суждено жить во Франции, и я по большому счету равнодушен к иным красотам, хотя как путешественник, и пленяюсь порой ими». Я, в отличие от него, вовсе не равнодушен к красотам мира. Их и искал. Чего еще надо?

Что же с ним? Аутизм, или как там его? – стала вспоминать Анна Семеновна. – Когда грезят и бредят наяву. Однако прошел час, и капитана было не узнать. Он снова стал немногословен и, когда Анна Семеновна пыталась растормошить его игрой ума, с недоумением глядел на нее. Складывалось впечатление, что он рассказал ей о себе в некоем забытии, словно был не в себе. Может, он и вправду был не в себе? А где тогда? Вроде не пьян.

## Глава 4. Три грации

Из-за Анны Семеновны теплоход задержался на сутки.

Во время очередной остановки она повела свой выводок в лес по ягоду. Там они, видимо, заплутали и к урочному часу не вернулись. Свечерело, давно уже пора отходить, а их нет. Дали гудок, через пару часов пустили несколько ракет. Бесполезно. С полуночи до рассвета теплоход каждый час ревел белугой.

В двенадцать тридцать пополудни группа ягодников явилась, помятая, искусанная и смертельно усталая. Одежда кое на ком оборвалась, все были в листьях и паутине. Впереди с песней шагала Анна Семеновна. У нее лицо опухло от укусов, глаз не было видно, а руку перебинтовывал оторванный рукав блузки.

– До чего же хорошо кругом! – пела Анна Семеновна.

– Марш политбюро? – хмыкнул капитан. – Что с рукой?

– На медведя в малиннике напоролись. Мои испугались – медведя не видели! – и тикать, а я палку взяла и на него. Медведь – бежать! А палка одним концом в него, другим в меня – уткнулась, вот и поранила слегка. Трусливый мишка попался!

– Мужик, – вздохнул Дрейк. – Однако, на сутки вышли из графика. Что делать теперь?

– Как что? Конечно же, догонять!

– Догоним и перегоним. Стоянки придется сокращать, Анна Семеновна.

– В чем же дело? Урезать, так урезать!

– А в чем причина задержки, позвольте полюбопытствовать?

– Да в медведе же! Медведь-то в одну сторону рванул, а мои в противоположную. Пока нашли друг друга, темно стало. Вон все охрипли, орали столько! Собрались – сами не знаем, где. До утра пережидали возле костра. Столько песен спели!

– А наши гудки вы не слышали?

– Услышали. На них, как светать стало, и пошли.

К удивлению Анны Семеновны, после того, как они накануне оба рассказали друг другу столько важного и даже странного, они вновь вернулись к тому «балдежному» языку, в котором мало слов участия и на котором общается вся страна.

Опоздали на десять часов. И вместо вечера подошли к причалу рано утром.

Дрейк ночь не спал, так как Анна Семеновна устроила напоследок диспут, который, начавшись вечером, завершился на рассвете. Уснуть под него не смог бы и мертвый. Диспут сопровождался песнями, танцами и барабанной дробью.

– Капитан, я с вами не прощаюсь! – воскликнула Анна Семеновна, сходя по трапу на берег. – Я вновь на земле. Девушки, это надо отметить! Айда ко мне домой! Кэп, не желаете?

Дрейк развел руки в стороны и сделал скорбное лицо:

– У меня семья, семеро по лавкам. Ждут тятю.

– Привет вашим оглоодам! Смотрите, наведаясь! У меня есть ваш адресок!

– Милости просим, – устало произнес Дрейк.

В первый раз он был выжат круизом, как лимон. И впрямь так захочешь на пенсию. Тут он вспомнил, что просил Зиночку оставить два билета на спектакль ленинградцев. Спектакль! В круизе, да, вот это был спектакль! Неужели она всю жизнь так живет?!

Дрейк зашел в пароходство и поднялся к секретарше. Билеты были на третий ряд.

– Я уж думала, сорвется наш выход, – сказала жена. – Позвонила Зинаиде, говорит, задерживаетесь на сутки.

– Нагнали четырнадцать часов.

Лида сделала прическу, расфрантилась. Федор посоветовал ей убрать с шеи красный платок.



- Чересчур смело, Лида. Авангард.
- Авангард? А галстук твой?
- Да он у меня один. На все времена. Ну что, айда?
- Еще два часа.
- Коньячку в буфете пропустим, пирожных с кофейком. В честь праздника.
- Какого праздника? – через двадцать минут спросила Лида.
- Праздника?
- Ты сказал, в честь праздника.
- Я вернулся, разве не праздник?

В фойе театра висели портреты ленинградской труппы. Дрейк останавливался возле каждого, а увидев Катю, вздрогнул и быстро прошел мимо.

- А это кто? – придержала его Лида. – Вроде как в кино где-то видела? Не знаешь?

Федор молча стал разглядывать портрет. Сердце его билось с такой силой, что он слышал, как оно отражается от стен холла театра.

- Туманова, – прочитал он.

– Я и сама вижу, что Туманова, – Лида подозрительно, как показалось Федору, посмотрела на него. Значит, она Туманова, подумал он, не Дерейкина, не Славская.

- Кэп! – раздалось вдруг через все фойе. – Три тысячи чертей! Вы тоже тут?

- А где же мне еще быть? – неожиданно для самого себя гаркнул Дрейк.

Все рассмеялись.

– Ты чего это? – Лида с ужасом глядела на мужа и на сумасшедшую бабу в каком-то малиновом кимоно с черным широким поясом, которая горланила через все фойе, как на пляже.

– Общаюсь, – сказал Дрейк. Он даже рад был, что появление Анны Семеновны сняло некоторую напряженность между ним и Лидией. – Подойдем, – сказал он жене. – Это проректор института. Может, поможет чем, когда Маша поступать будет.

Подожли. Дрейк представил друг другу дам. На малиновой спине проректора извивался ужасный черный дракон.

- Тут можно курить, – сказала проректор, облизнув алые губы.

- Какой милый халатик! – похвалила Лида.

- Разновидность касури. Обычно она у них белая, а эта малиновая.

- Русский вариант, – сказал Дрейк. – Дракон – это фамильный герб?

- Скорее семейное, – улыбнулась Анна Семеновна. – Кэп, позвольте папироску?

Лиде не совсем понравилась эта некоторая вольность в обращении с ее мужем.

– Дома забыла кисет! – улыбнулась Анна Семеновна Лиде. – Самокрутки не пробовали? Напрасно. Будете у меня, непременно угощу! Попробуете, не оторветесь! Подымишь, и мозги скачут, как макаки! Да, капитан, вы подумали над моим предложением?

Лида впилась взглядом в мужа.

- Что предложите в мой журнал? Может, о борьбе за мир во всем мире? Это актуально.

– Причем всегда, – согласился капитан. – От борьбы за мир, как от всякой борьбы, человек звереет, так как в борьбе надо только побеждать. Я лучше о пиратах напишу.

– О пиратах так о пиратах. Это будет романтическая история? Хроника злодейств? Публицистика?

– Это будет белый стих, мадам. Никаких рифм. Лишь аритмия океана. Белый стих размером с океан. Одно я только думаю: поместится ли на моей кухне Пегас?

- У истинного поэта даже табурет под парусом.

Дрейку показалось, что Лиду вдруг скосило всю, как кливер. Хорошо, раздался звонок.

- Надеюсь, кэп, вы в галерке?

- Нет, мадам, партер, третий ряд.

– Как вы пали! Это мелкобуржуазно!

– Зато близко, – пробормотал Дрейк.

Он почувствовал, что устал. В этом фейерверке он совсем забыл, ради чего, собственно, пришел на спектакль. Катя, подумал он, Катя. Он произнес про себя несколько раз это полузабытое имя, и оно возродило в нем, как заклятие, былое. Как на призыв «Сезам, откройся!» открывалась дверь к несметным сокровищам. Вот только остались ли они там?

Федор не слышал, что говорят актеры, что-то суетятся, балагурят. Он видел Катю, и ему казалось, что она тоже увидела и узнала его. Несколько раз он ловил ее взгляд на себе. В антракте он не встал и остался в зале. Лида увидела знакомую и вышла вместе с нею в фойе.

– Видела твою, – сказала Лида.

У Федора захолонуло сердце.

– Кого? – выдохнул он.

– Сумасшедшую в малиновом кимоно. Из свиного рыльца сшила сарафан. Ей, небось, не сказал, что авангард? А как родной жене, так на ней и рейтузы – авангард! А дракон на спине – ничего!

– Рейтузы? Нет, рейтузы не авангард. Рейтузы – анахронизм.

Спектакль закончился под гром аплодисментов.

– Ну, как? – спросила Лида

– Душно, – ответил Федор, вытирая со лба пот.

– Я про спектакль спрашиваю.

– Спектакль как спектакль.

– Как тебе твоя Туманова?

– Моя?

– А то чья же? Что же, ты думаешь, я не знаю твоей первой жены? – Лида насмешливо смотрела на супруга. – Ты, Федя, как ребенок! Смешно даже, ей-богу!

– Смешно, – согласился Федор. – Подождем, когда она выйдет.

– Подождем, – кивнула Лида. – Ты подожди, а я домой пойду. А то Машенька одна.

– Останься. Ничего с ней не сделается. А ты не ребенок?

– Кэп! Где вы были в антракте? – раздался откуда-то сверху голос Анны Семеновны.

– В антракте, мадам! – не поворачивая головы, отозвался Федор.

Лида раздраженно отняла свою руку от руки мужа.

– Стыдно же так орать! Что подумают люди?

– Что подумают, то и скажут, – ответил Федор.

– Это она пришла на спектакль? Зачем ей спектакль? Она сама спектакль! – заводилась Лида, и Федор был согласен с нею. – Знакомые у тебя, Федор! Ишь, цокает как!

Та, шумя и приветствуя знакомых, спускалась по лестнице.

– Это абзац, капитан! – подошла Анна Семеновна. – Одни знакомые! А вам как?

– Что как? – свела брови Лида.

– Спектакль.

– Спектакль как спектакль, – ответила Лида. – Полный аут!

– Вот она, афористичность! Капитан, вы почему таили от общества вашу супругу?

– Да кто ее таил? – вырвалось у Дрейка, и тут он увидел Катю в сопровождении двух мужчин. Странно, когда она успела снять грим и все такое?

– Катя! – крикнул он. – Екатерина Александровна! Туманова!

Та остановилась, удивленно посмотрела в сторону Дрейка, что-то сказала своим спутникам, те попрощались с ней, один поцеловал в щеку. Она направилась к Дрейку, который уже шел ей навстречу, бросив жену и Анну Семеновну.

Весной Лида видела, как на мосту лоб в лоб столкнулись две машины. Сейчас она увидела нечто схожее. Муж и актриса застыли на мосту своей жизни, столкнувшись лбами, и неясно

было, что случилось с ними. Еще Лида увидела, сердцем почуяла, что этот миг для них длился дольше десятилетий разлуки. «Почему? Почему так? – вскричал кто-то в ее душе. – Почему так несправедливо?»

Катя протянула руку Федору. Он вспомнил ее руку за мгновение до того, как коснулся. Катя обняла Федора и поцеловала в щеку. Он неловко ткнулся ей в ухо.

– Я и не думал увидеть тебя. Думал, пока грим снимешь, то-сё...

– Это быстро делается, – улыбнулась Катя.

Не успели они вымолвить еще пару слов, как их достала Анна Семеновна.

– Как я рада видеть вас, знаменитую актрису! – послышался ее хриловатый голос. – Капитан, познакомьте меня с народной артисткой РСФСР!

– Екатерина Александровна, это Анна Семеновна, проректор инсти...

– И прошу заметить, Екатерина Александровна, руководитель студенческого театра! Вам непременно надо посмотреть наш последний водевиль! Он вас потрясет до основания! Поехали!

– До чего? – взметнула брови артистка.

– Куда? – спросил Дрейк. – Куда, Анна Семеновна? У Екатерины Александровны свои дела.

– Какие дела? Занавес опущен, значит, никаких дел! Едем ко мне в институт. Соберу сейчас девчат, парней и содрогнутся стены! Еще бы, сдать спектакль народной артистке РСФСР!

Лида молча переводила взгляд с мужа на сумасшедшую бабу, а с нее на народную артистку, первую жену Федора. Черты лица ее заострились, а в душе была тоска: «Что же так свело нас всех в один час?!»

– Ну, что ж, дорогие рэсэфэсэрянки, – произнес Федор, – едем!

Анна Семеновна встала посреди проезжей части улицы и энергично остановила первое же свободное такси. Усадив Дерейкиных и Екатерину Александровну на заднее сиденье, сама плюхнулась на переднее и – «Salve, голубчик!» – скомандовала:

– Форвертс! Кэп, не угостите ли даму папироской? «Беломор» не мухомор, хоть и говнистая махорка.

Лида едва не сгорела со стыда. Таксист захохотал. Катя сжала руку Федора. Он так и обмер. Да что же это такое, подумал он. И, тронув таксиста за плечо, скомандовал:

– На Гончарную! Дом шесть. Со двора. Линкс, то есть слева.

– Славно, кэп! – не обиделась Анна Семеновна. – Я всем знакомым уже сказала, что в нашем городе есть один мужчина. И это – вы, капитан! Чур, сперва завезти меня. Завтра я к вам наведаюсь, Екатерина Александровна, в гостиницу. Не возражаете? У вас какой номер?

– Двести пятый.

– Меня – вот здесь. Чао! Спектакль был – полный аут! Москва столица, моя Москва! – запела Анна Семеновна.

– Федя, она всегда такая? – спросила Лида.

– Я ее вижу второй раз в жизни.

– Ты здесь так и живешь? – спросила Катя.

– А где же мне еще жить? – спросил Федор, а Лида дернулась.

– Столько лет прошло. Неужели квартиру не дали?

– Вот ее и дали, – ответил Федор. – Нормальная квартира. Две комнаты. Нас двое да внука...

Лида стала собирать на стол.

– Я помогу вам, – предложила Катя.

– Ничего, я справлюсь, – ответила Лида. – Машенька, покажи бабе Кате рисунки.

Стервоза, подумал Федор о жене, но подумал с нежностью.

– Славная какая! – искренне сказала Катя, любуясь девчушкой. – Сколько ей?

Федор не мог вспомнить.

– Ты все такой же! – засмеялась Катя.

За столом она обмолвилась об этом, а Лида с ожесточением бросила:

– Да он во всем такой! Маша, ты показала рисунки? Где ты там?

– Она сейчас дорисует и покажет, – сказал Федор.

– Спать ей уже пора, – буркнула Лида, – а не рисунки рисовать. Маша! Неси уж, демонстрируй!

Выскочила Маша с рисунками из своей комнаты.

– Какие рисунки! – воскликнула Катя. – Корабль? И еще корабль! И еще! И все с парусами? Это деда на таком ездит?

– Ходит, – поправила ее Маша. – Да, у него корабль с парусами.

– А ты ездила на нем? Ходила?

– Да.

– И он с парусами?

– Да. А еще пушки. И бушприт.

– Она вся в тебя, – Катя положила Федору руку на плечо.

– А лицом и фигурой в меня, – сказала Лида.

– Постой, а что тут за цветы на корабле?

– Там каюта.

– С цветами?

– Да, с цветами. Цветы любит Изабелла.

– Изабелла? Изабелла – что-то я слышала о ней? – Катя взглянула на Федора, но тот никак не отреагировал на ее вопрос.

– Да, дедушка спас ее. Он отбил ее у пиратов и женится на ней.

– Так он же уже женат! – «Же-же-же, – подумала Катя. – Надо без же». – На твоей бабушке.

– Нет, это так, а там специальный брак...

– Пиратский брак на пиратском барке, – поддакнул дедушка. Поизящней, чем же-же-же.

– Не простой, как у всех советских людей. Там ничего такого нет, ни дома, ни шкафа, там Изабелла выходит на палубу, протягивает руки вперед и произносит заклинания: «Кадите мне. Цветы рассыпьте. Я в незапамятных веках была царицей в Египте. Теперь – я воск. Я тлен. Я прах».

– Да, Федя, – только и произнесла Катя.

– Вот так и живем, – вздохнула Лида.

Тут в дверь позвонили, и постучали, и вошла в сопровождении «парней» и «девок» Анна Семеновна. Она была все в том же малиновом кимоно с черным драконом.

– Явление третье, – сказала Катя и подмигнула Федору. – Те же и в малиновом берете.

– Ой, малиновая какая! – вскрикнула Маша. – Красивая!

– Краше в гроб кладут, – буркнула Лида.

– Сейчас мы сыграем водевиль! – распорядилась Анна Семеновна. – Декорации не нужны, декорации к черту! Сценой будет квартира капитана! Пол, стены, окно. Лена и Юлия – туда, Петров – рядом, Гена – ложись на диван.

– Музыка не нужна? – поинтересовался Дрейк.

– Ничего. Сбренчим на губах. Тазик, разве что, или сковородку, да пару ложек.

– Это Федор Иванович дал вам наш адрес? – спросила Лида.

– Что вы! Его знает весь город! На углу у троих спросила, где живет капитан Дрейк? И все трое: Гончарная, дом шесть, фон линкс со двора.

– Водевиль одноактный? – спросила Катя.

– Трех! Летит как песня! За пару часов сбцаем!

Федор посмотрел на часы, потом на внучку.

– Маша, тебе спать пора.

– Иди, иди, девочка, – ласково сказала ей Анна Семеновна. – У тебя есть своя комнатка? Спи, моя славная, дай я тебя поцелую. Вот так. Маленькие дети – прелесть! Мои сволочи уже такими не будут!

Воспользовавшись минутной передышкой, пока Лида укладывала Машу, а Анна Семеновна делала развод своим силам, Катя с Федором ушли на кухню и сели у окна, не зажигая света. Катя верно поняла суть Анны Семеновны: той было все равно, как жить, и она жила, как хотела, она играла свою жизнь. «В ней пропала великая актриса, – подумала Катя. – Не чета мне. Эта бы точно заставила ходить «на нее» и пол-Москвы, и пол-Питера, да что там «пол» – вся Москва и весь Питер стояли бы на ушах. Хотя – что такое театр? Одни несчастные представляют других несчастных третьим несчастным». Она взглянула на Федора, тот глядел на отражение в окне и по своему обыкновению молчал.

– Где работаешь? – спросила она.

– Ты же слышала, капитаном.

– В чиновники не пошел?

– Не пошел, а не вышел, мордой. Ты-то как?

– Да так, в театре. Жизнь летит, не замечаешь, как летит. Туманов перетащил в Питер.

– Это я понял.

– Его протекция, понятно, и помогла мне устроиться в театр. Тридцать лет прошло... С ума можно сойти! Такая прорва лет...

Зажегся свет.

– Что без света? – спросила Лида.

– Комары налетят, – Федор прикрыл окно.

– Зрители! Екатерина Александровна! Капитан! Супруга капитана! Прошу вас в зрительный зал! Театр полон...

– Ты все еще любишь ее? – спросила Лида, ужасаясь тому, что задала этот вопрос.

– Я? – не менее дурачки переспросил Федор. – Кого?

До начала действия Федор обратил внимание на обувь Анны Семеновны. Черные туфли на платформе были, скорее всего, отечественные.

– Нарушаете традицию, Анна Семеновна. К кимоно хороши деревянные колодки.

– Колодки – это в Китае, кэп. А ноги обязательно бинтовать. Но это только для девочек.

– А, ну да.

## Глава 5. Разговор

Когда стали расходиться, то есть уже за полночь, Анна Семеновна предложила Екатерине Александровне пройтись по ночному городу пешком, подышать свежим воздухом. «*Dum spiro, spero!*»<sup>11</sup> У Кати болела голова, но отвязаться от проректора, видимо, не удастся. Вот уж, правда, репей в хвост!

– Вы там, в столицах, поди, совсем забыли воздух провинции?! – воскликнула та, как только они оказались на улице, скопившей за день весь жар и вонь лета. Екатерина Александровна сказала, что она уехала из Нежинска всего-то тридцать лет назад, но Анна Семеновна не услышала и продолжала: – Изумительный воздух! А вы, ребята, идите, идите-идите, мы сами. Правда, они у меня молодцы? Пойдемте, Екатерина Александровна! Вам – туда.

Пошли.

– Вы давно знаете капитана? – игриво спросила Анна Семеновна.

Екатерине Александровне не составило особого труда подыграть ей:

– Еще когда он ходил в нахимовцах.

– Ведь вы... жили с ним? – Анна Семеновна не была уверена, но, будучи женщиной, знала что спрашивает. – Прошу прощения, если вас это как-то смущает.

– Жили, – просто ответила Катя. – И прожили около года. Мы были женаты.

– А-а, – Анна Семеновна не поверила. – Давно?

– Сразу после войны. Тридцать пять лет прошло – даже не верится. Мне тогда этот возраст, тридцать пять лет, казался запредельным.

Анна Семеновна уныло кивнула, ей после войны как раз и было тридцать пять лет.

– И как он... в семейной жизни? – спросила она.

«Никак тетенька хочет замуж?» – удивилась Катя.

– Потрясающ. Герой-любовник.

– Да, у него это на лице написано. Не воспринимайте только меня буквально.

– Да кто ж сегодня воспринимает кого буквально? Косвенно-то порой ничего не поймешь.

– Да, молодежь сейчас по нулям. И он всегда такой?

– Какой?

– С фантазиями?

– Я думаю, это у него не фантазии. Это его мир, куда нам нет входа.

– Да? – явно озадачилась Анна Семеновна. – Таки вот и нет?

– Таки вот и нет.

Они обе рассмеялись.

– Он верит всему, – неожиданно разоткровенничалась Катя; она хотела, было, оборвать себя, но почему-то не смогла, в самой накалило. – Казалось бы, после войны, весь израненный, места живого на нем нет, семья вся погибла... Я тогда медсестрой в госпитале была.

«Вон оно что! Все понятно теперь, все понятно».

– «Дон Кихота» прочитал в двадцать пять лет, как третий раз на свет родился после второго ранения, и верит всему! Даже не «верит», он знает, что это так и было.

– Интересно, – покачала головой Анна Семеновна, – интересно...

– И знаете, что он сказал по поводу прочитанного?

– Любопытно, любопытно, что же?

– Что он – «видел» его! Видел и хорошо знает. Я ради интереса попросила описать облик Дон Кихота, не просто, что как жердь и общеизвестное, а поподробнее, любимые его словечки.

---

<sup>11</sup> Пока дышу, надеюсь!

Федор без труда сделал это. Я потом все это, (все!) нашла у Сервантеса. Но у Феде были еще какие-то мелочи, какие видит только очевидец. Люди театра грешат этим – «дописывают образ».

Анна Семеновна покусывала в раздумье губы.

– И я думаю сейчас, – продолжила Екатерина Александровна, – что он имел в виду себя.

– То есть как это? – вздрогнула Анна Семеновна.

– То, что он видел Дон Кихота своими глазами, а не просто прочитал о нем. Как человек театра, вы знаете, как это может быть.

– Я так и знала, я так и знала.

– Я поверила Феде после того, как он вдруг сказал: «Зря Сервантес подтрунивает над Дон-Кихотом. Дон-Кихот, на самом деле, как видит, так и поступает».

– Но при всем при том у капитана удивительное чувство юмора, – сказала Анна Семеновна.

– Я бы сказала: сарказма, – не согласилась Катя. – Юмор он допускает только к тем, кого любит, а к остальным у него сарказм. В войну он много передумал. Это даже странно было для его возраста. Я многих нагладелась в госпитале. Большинство там не то что «думали» о чем-то, большинство просто биологически существовали. Некоторые даже госпиталь воспринимали как вторую линию фронта, на которой надо элементарно, без всяких мыслей в башке и уж, конечно же, без высоких материй, выжить.

– Да, он сущий ребенок. Ваши дети с вами живут?

– Нет, – быстро ответила Катя. – А ваши?

– Мои – кто где. Все в меня, и все от разных отцов. Оно так даже спокойнее – никакой гемофилии. Денис, это сын, тоже в городе на Неве. И про пиратов он тоже рассказывал?

– Про пиратов? – не поняла Катя. – Вы имеете в виду...

– Пиратов, я имею в виду – пиратов, корсаров, буканьеров, как там их еще...

– Кажется, ничего. Про войну-то и то скупое рассказывал. Он тогда долго сжат был, как пружина. Я иногда боялась его, – вдруг призналась Катя и подумала: «А может, оттого я так легко и ушла от него?»

## Глава 6. Медсестра Катя

Федор спал плохо. Было душно, были мысли, и ночь тянулась, как доклад. Да и Лида, похоже, маялась без сна, но с закрытыми глазами. Она ворочалась с боку на бок, а Федор отодвинулся на самый край кровати, чтобы не прикасаться к ней. И причиной его бессонницы была вовсе не психика, взбудораженная многодневным спектаклем. Когда проходит столько лет, начинаешь сомневаться в своих чувствах, что были тридцать три года назад – мало ли куда их за это время унесло! А когда начинаешь сомневаться в своих чувствах, начинаешь сомневаться в себе. Тридцать лет и три года, думал Федор, тридцать лет и три года прошло, а как и не было их. Может, и впрямь их нет? Как у Ильи Муромца, их никто не учитывает. Под деревом промяукала кошка: «Не-ет! Не-ет!», и тут же кто-то шуганул ее из окна. Кошка бросилась в кусты, вот и ее не стало, как тех лет...

Медсестру звали Катя. Она обслуживала две палаты: тяжелораненых и «средненьких». В первой палате был тяжелый запах, тяжелые вздохи, тяжелые взгляды и мысли, а во второй было немного светлее, но оттого и больнее сердцу. Катя не воспринимала тяжелораненых как конкретных людей, с конкретными именами и судьбами. Они были для нее все на одно лицо, и было это лицо нескончаемой боли. «Средненькие» хоть изредка улыбались, вставали, выходили покурить тайком в коридор, даже заигрывали с ней, к чему она, правда, относилась крайне отрицательно.

– Не теряйте попусту свои силы, селезни! – командовала она. – А то опять на утку посажу!

– Кря-кря! – крякали те. – Га-га-га! Га-га-га!

– Сестра! – позвал ее Федор. – А, сестра!

– Чего тебе, Дерейкин?

– Муха, птица проклятая!..

– Не придуривайся.

– Май-то погляди какой!

– Что? – не поняла Катя. – Какой май? Июнь уже вовсю.

– Май жестокий с белыми ночами! – Федор вскинул руку вверх. – Вечный стук в ворота: выходи! Голубая дымка за плечами, неизвестность, гибель впереди! Женщины с безумными очами, вечно смятой розой на груди! Пробудись! Пронзи меня мечами, от страстей моих освободи!

– Я и пришла освободить тебя от страстей, – сказала сестра. – Готовь жопку, пронзать буду мечами!

– Всегда так, – вздохнул Федор. – Только душу распахнешь, как тебя мордой об стол.

– Мне морда твоя обгорелая с твоими стихотворными речами ни к чему, ты давай другую часть речи подставляй. Давай-давай, меня «доходяги» заждались. Вот это тебе май! Жестокий, с белыми ночами...

– Ой!

– А это... голубая дымка!

– О-ой!

– Может, еще чего считаешь? Ты меня вдохновляешь.

Федор, почесываясь, махнул рукой – иди, мол, иди к своим «доходягам»!

– Сестра! – крикнул он ей вслед. – Выйти-то можно? На ступенечки?

– Выходи, черт с тобой! – помявшись, разрешила сестра. – Только ни-ни!

– Сестра-а!

– Унюхаю – смотри!



Федор вышел на крыльцо. От свежего воздуха, высокого неба и высокого крыльца у него закружилась голова. Он сел на ступени, обхватил голову руками. Шумели листочки, похожие на зеленые крошки, прожужжал шмель. Он словно прилетел из тех еще, довоенных лет.

На фронте ему попал в руки рассказ Алексея Толстого о танкисте, который, как и он, сжег лицо, и его не узнала даже родная мать. На Федора рассказ произвел гнетущее впечатление, и хотя лицо его было вполне нормальное, он решил в Воронеж не возвращаться. Да и к кому возвращаться? Никого из родных не осталось, а из друзей? Их много, а Челышевых – ни одного. Все неровности выжгла война. От воспоминаний уже не было больно. Стало все безразлично, что еще хуже боли.

О Фелицате последний год он даже не вспоминал, а сейчас вспомнил и почувствовал лишь дрожание сердечной мышцы. Он погладил грудь кулаком, с тоской глянув вокруг.

– Что с тобой, Дерейкин? – услышал он и вздрогнул. Сестра наклонилась над ним и ласково погладила по голове. – Ну-ну, все образуется. Тебя дома ждут. Ведь ждут?

Федор посмотрел на нее и, сжав со страшной силой зубы, помахал отрицательно головой.

– Прости, милый, прости, – Катя еще раз погладила Дерейкина по голове. – Ты сиди-сиди. Сегодня тепло.

Сестра ушла, а Федор вдруг понял, что без нее у него внутри образовалась пустота. Он посидел немного, встал, постоял, крепко схватившись за перила, и вернулся в палату.

Прошел мимо зеркала. Ему показалось, что в зеркале скользнула красная маска. «От дней войны, от «дней свободы» – Кровавый отсвет в лицах есть».

– На перевязку! – заглянула сестра в дверь. – Дерейкин! Ты сегодня первый!

– Ну что, на поправку пошли, Федя? – она в первый раз обратилась к нему по имени. – Вот и молодец! Через месяц-другой как огурчик будешь!

– Зеленый.

– А хоть и зеленый. Живой, дурень! Жи-вой! Все! Зови следующего. Не давит?

– Терпимо, – хмуро ответил Дерейкин.

– И как это тебя, Федя, угораздило в конце войны такие раны получить? Чуть-чуть и остался бы без ног.

– Чуть-чуть не считается. Вот так и угораздило. И не в конце войны, а в начале мира. Я уж почти домой добрался от самого Будапешта. Всего-то за пару недель. Шарахнуло, можно сказать, на пороге родного дома... которого нет...

– Федя! – строго сказала сестра. – Петрова зови. Потом Шапиро.

Перед ужином сестра опять разрешила Федору выйти на крылечко.

– Ты меня там обожди. Я с тобой в парк спущусь. Один не ходи!

У Федора гулко, под горло забило сердце. Как в конце пятого раунда.

Словно на шесте, появилась нанизанная на тонкий тополек луна, бледная и широкая, как лицо одноногого пирата Джона Сильвера. Вспомнились вдруг давние, совсем не реальные времена воронежской юности, когда от жизни брал, брал, брал... Но такими же нереальными казались и дни, отданные войне. Странно, когда отдаешь, вроде должно запоминаться дольше, а все одно.

– Думаешь?

Федор вздрогнул. Сестра с улыбкой глядела ему в глаза.

– Ты глянь, у тебя глаза зеленые! А я думала, карие. Пошли, что ли? Осторожней! Держись, – она подставила ему согнутую руку.

– Прямо как до войны! – сказал Федор.

– Что? – не поняла сестра.

– Да с девушкой гуляю.

– Нашел девушку! – хмыкнула сестра. – Юноша! Соскучился, небось, по «девушкам»?

Федор молчал.

– Неулыбчивый ты, Федя! Тяжело идти? Сядем вот тут. Во-от, тут нас никто не увидит. Да и кому мы нужны! Дай причешу. Давно в зеркало смотрелся-то?

– Давно, – хмурясь, ответил Федор.

– Ну-ну, не ежься, не съем. Клади голову-то на колени. Какие они у тебя густые и почти все седые. А вот клочок не седой, и вот. Обычно седые волосы тонкие и мягкие, а у тебя толстые и сколько их! Ба, да у тебя две макушки! Вот и вот! Две жены будет. Сочувствую.

– Ага, – ответил Федор.

Сестра засмеялась неожиданно легким свободным смехом:

– Что «ага»? Что «ага»? Женат?

Федор не ответил, обнял ее руками и прижался лицом к ее ногам. Катя гладила ему волосы и ласково, как ветерок, что-то шептала ему на ухо. Так они просидели до темна.

– Ну, пойдем, молчун ты мой зеленоглазый! Я рада, что ты такой.

Она довела его до палаты и строго сказала:

– Один по лестнице не спускайся, рано еще!

– Рано еще? – подмигнули ему Шапиро с Петровым и засмеялись.

– А идите вы! – незлобиво бросил Федор и отвернулся к стене.

– Откуда Блока знаешь? – спросила она на другой день, на том же самом месте и в то же самое время.

– Еще из Воронежа. Я учился там. Нравится он мне. Я много его стихов наизусть знаю. Почитать?

– Лучше ты послушай меня, – Катя прочитала ему «Сольвейг», потом «Незнакомку», потом неизвестные Федору строки – он заворожено слушал. В ее исполнении стихи стали зримыми, плотными, не просто холодноватым синим ритмом, иногда пронизывающим до костей ледяными своими иглами, а готическими замками с башенками и подъемными мостами, наполнились совершенно другим, почти невероятным смыслом, о котором он даже не догадывался.

– Слушай, – сказал Федор, – я вот так же себя чувствовал, когда в Чехии оказался в одном замке. Замок стоял на горе, из него открывался чудный вид! Место изумительное для обороны. И такой простор, что, казалось, виден мыс Горн. А ведь я тогда чудом остался жив. Казалось бы, какой замок? Какой простор?

Катя поцеловала Федора в щеку. Федор обнял ее.

– Пойдем. Спать пора. Завтра дел много, – вздохнула она. – А ты слаб еще. Тебе надо сил набраться. Тебе что Шапиро с Петровым сказали: рано еще!

– Катя, – Федор в первый раз назвал ее по имени и почувствовал, как в нем все задрожало от возбуждения. – Катя, а ты откуда знаешь столько его стихов? И они у тебя какие-то объемные, как дома с людьми.

– Ничего особенного. Ты прав: стихи – как дома с людьми. В таком доме всегда уютно, но там нельзя становиться на постой.

– И лечиться... Нет, ты классно читаешь Блока!

– Классно! – засмеялась Катя. – Я так классно читаю потому, что я актриса, в театре работала.

– А как же...

– Как оказалась в госпитале? Так и оказалась. С трупой ездила, читала-читала стихи по госпиталю да на передовой, пока всех моих бомбой не накрыло. Тогда голос сразу и пропал. Сейчас вот с тобой прорезался вдруг, – она вытерла глаза. – Вот так вот: пела, пела, теперь пляшу. Такая моя жизнь. Наполненная страданиями. Чужие страдания, они все равно чужие. Жизнь лучше всего видна сквозь увеличительное стекло собственных страданий, пусть даже надуманных.

«Какие же они надуманные», – подумал Федор.

Шапиро с Петровым на этот раз в один голос поздравили Дерейкина с блестяще выполненной боевой задачей. Федор первый раз в этом году улыбнулся и сказал им:

– Два идиота! Ноги выдерну!

Петров подставил культю и засмеялся:

– А и черт с ней! Выдирай!

На следующий день Кати не было, ее заменяла другая сестра, а еще через день Катя вышла на работу в каком-то подавленном настроении. Раненые сразу же заметили это, но поскольку она не терпела вопросов, касающихся ее, никто задать их так и не решился. С Дерейкиным она обмолвилась парой слов, а он тоже промолчал. Вечером Федор вышел на крыльцо, но Катя так и не подошла. Федор постоял, постоял и уныло поплелся в палату. Петров с Шапиро, взглянув на него, шутить не стали.

Федор спал плохо. К нему в голову лезли всякие бесформенные мысли, и их было такое множество, что было беспокойно, как на вокзале среди множества людей: известно, что состава не будет, а его все равно ждешь. Он проворочался до утра, несколько раз вставал, выходил из палаты, считал половицы, мерил ступнями длину и ширину коридора, пересчитывал лампочки, изучал плакаты и схемы, возвращался в палату и вновь пытался уснуть. Койка была какой-то неродной, а подушка, как камень! И что удивительно, из тела ушла куда-то боль. Куда, в душу? Но при всем при том ему было безумно жаль себя и... Катю. Что с ней?

Утром Катя была как ни в чем не бывало! Федор с беспокойством посмотрел на нее, но она улыбнулась и даже послала ему воздушный поцелуй, чем ужасно вдохновила Петрова и Шапиро на разнообразные колкости. Они изощрались до того вдохновенно, что Дерейкин убежал от них на крыльцо.

Тут же появилась Катя.

– Федя, я сейчас перемою склянки и приду. Здесь подождешь?

Минут через двадцать она появилась, и они спустились в парк.

– А со мной едва не приключилась беда, Феденька. Позавчера. Да и вчера рядом ходила.

– Сказала бы мне, помог.

Катя улыбнулась:

– Спасибо. Не помог бы. Тут только я одна могла помочь себе. Больше у меня нет никого.

«Как и у меня!» – перехватило Федору грудь. Он потерял ее.

– Болит? У меня, оказывается, Колю не у... не у... – Катя заплакала навзрыд. Успокоившись, сказала: – Колю-то моего, сынишку, не убило тогда. Живой он. Его подобрал один человек и все это время кормил, воспитывал. А теперь вот этот человек нашел меня и сказал об этом.

Федор, не понимая, смотрел на нее.

– Ну и что? Где ж тут беда?

– Не отдает он мне его!

– Как не отдает? Да зачем же тогда сказал?

– Ой, Федя! Тут, как в романе, долго рассказывать. Классический любовный треугольник. Довоенный еще. Муж, я и еще некто третий. А в треугольнике, если один угол тупой, так это муж. Господи, прости меня, грешную! И так наказал меня уже на полную катушку, дальше некуда! Муж мой, царствие ему небесное, был театральным режиссером, это совсем другая жизнь, тебе ее лучше и не знать совсем. Он и от фронта-то отмазался под предлогом своего бескорыстного служения высокому искусству. Судьба, правда, мстит тому, кто с ней нечестен. Жизнь искусством не купишь. Так вот, муж был мужем мне более по обязанности, чем по сердцу, и вышла я за него, да-да, не гляди на меня так, только из соображений театральной карьеры, хоть и Коленька был от него, не думай, что я падшая женщина. Какой-никакой, но супружеский долг все-таки есть. Должен быть. Но вот этот третий меня сломал. О! Вскружил голову и увлек в пропасть. Он дирижером работал. Дирижеры, Феденька, властные люди, а

этому – самому впору дирижерами руководить! С ним чувствуешь себя простой флейтой, как в «Гамлете». Что флейтой? Чувствуешь себя одинокой нотой: фальшивой и ускользящей. Когда я поняла, что фальшивых нот не бывает, что фальшивым мы, я освободилась. Перед самой войной разорвала с ним отношения. Хватило душевных сил. Я, конечно, тоже стервоза еще та. Он был убит этим, ну да музыканты от одной ноты готовы помереть, а потом от нее же воскреснуть. У них это наблюдается периодами. Словом, этот дирижер и нашел тогда моего ребенка в какой-то больнице. Когда завалы растаскивали, Колю вытащили из-под балки. Балка свалилась на него и тем самым спасла. Правда, ценой черепно-мозговой травмы. Дирижер тогда нашел (спасибо, конечно, ему) и взял Колю из больницы. А вот позавчера приехал сюда. Где-то узнал, что я тут работаю, пришел ко мне и предложил обмен. Мне – Колю. Меня – ему. Опять проклятый треугольник! И правда, самая жесткая (жестокая!) фигура. Я отказалась. С ужасом – отказалась! Его это здорово озадачило. Начал-то он с шутки. Пришел, мол, с небольшим подарком, и кто старое помянет, тому и глаз долой. Похоже, он все рассчитал, но только не мой отказ от ребенка. Нашла коса на камень. Конечно, я погорячилась, не так надо было, но уж очень все было неожиданно. Я ему: заберу Колю без всяких условий, а там посмотрим. Нет, сказал он, так не пойдет. Я на своем. Мой сын, и какое твое дело? Спас от голода, спасибо на том. Бог воздаст, и я не забуду. Но сына отдай немедленно и без всяких условий! Тут он и выдал: что я никому не докажу, что Коля мой сын; что Коля умер и это записано, где надо; что Коля просто-напросто не узнает меня после стольких лет разлуки; что сам он, в конце концов, теперь Колин отец. И показал мне справку об усыновлении мальчика-сироты Коли (без фамилии). Справка – в обмен на тебя, сказал он. Я сжала зубы и сказала: нет. Он был в ярости, но и без сил. Я готова была убить его, себя, кого угодно! Хорошо, он быстро ушел. Как ушел, у меня ноги подкосились, и я повалилась без сил. Как подумала, на краю чего была... Какая я мать – после этого?!

Федор слушал. Когда в рассказ вплелся «некто третий», он уже решил, что начинается волшебная сказка – женская исповедь о добродетели. Дамы о добродетели знают все. Но потом с изумлением почувствовал, как за считанные секунды, пока Катя рассказывала ему свою историю, у него расширилось сознание, как необъятен стал мир, как наполнился он, помимо его сугубо личных проблем и локальной его боли, множеством проблем близких и не близких, понятных и не понятных ему людей, наполнился всеобщей болью и всеобщей радостью. И он понял, что выход из его личной боли был один – это вход в боль, как в туннель, другой боли навстречу. Да так, чтобы не промчаться мимо друг друга, как два курьерских, а чтобы столкнуться на полном ходу лоб в лоб, всмятку, вдребезги! Столкнуться и ворваться в одну только радость!

Пока Катя рассказывала о себе, Федор никак не мог понять, почему ему так беспокойно, и вдруг ему очень ясно стало, что Катя говорит голосом Фелицаты, смотрит на него и видит его будущее глазами Фелицаты...

– Тебе еще нет тридцати? – спросил он.

– Нет, – засмеялась Катя. – Для тебя это важно?

– Да, – ответил Федор.

Катя хотела спросить, почему это так важно для него, но не успела.

– Все образуется, Катя, – неожиданно для себя сказал он. – Вот увидишь, все образуется. Мы с тобой поженимся, и он отдаст нам нашего ребенка. Пусть попробует не отдать! На мне не поиграешь, как... как на флейте! Вот погоди, через недельку я оклемаюсь, и мы пойдем с тобой в ЗАГС. Где тут у вас ЗАГС?

ЗАГС был неподалеку, и через два месяца они справили свадьбу. Петров с Шапиро сочинили частушки и с огоньком исполнили их. А после единственного краткого визита, который нанес бывший армейский разведчик Дерейкин Ф.И. действующему дирижеру симфонического оркестра Туманову Г.П., тот тут же вечером доставил Екатерине Александровне Дерейкиной

ее семилетнего сына Николая в целости и сохранности, и в знак примирения принес коньяк и букет желтых роз. Лишь одна красная роза горела посередине, как капля крови. Туманов выглядел уважаемым, но жалким, и Катя простила его. Расстались они дружно. А Федор подумал: «В слове уважительность есть что-то дешевое, так как оно исключает благородство».

Когда остались одни, Катя обняла Федора и в первый раз сказала ему:

– Феденька, я люблю тебя!

## Глава 7. Когда уходят навсегда

В жизни горожанина, как во всякой городской улице, две стороны: солнечная и теневая. На этой улице может быть оживленное движение, а может быть тупик, новое асфальтовое покрытие или вечно вскрытый ремонтными службами асфальт, может сиять безукоризненная чистота, а может неумный ветер непрерывно сыпать в лицо песком и обдавать выхлопными газами поток автомобилей. К жизни такой рано или поздно привыкаешь, как к будильнику в шесть утра, вечернему кефиру в санатории, а то и к супружескому долгу.

Дерейкин свернул с городских улиц к реке и вдруг оказался в другом царстве. Федор искал отдел кадров пароходства. Он был, сказали, в вагончике на задворках речпорта. Само здание речпорта стояло под лесами, и оттуда неслись какие-то дикие крики, как из леса. На самом верху, на балке, сидел парень в немецкой каске и болтал ногами.

– Где тут отдел кадров?

Парень махнул рукой куда-то вдаль.

Федор прошел всю территорию порта, пустырь, железнодорожные пути, несколько составов из теплушек и платформ, разъединный ржой и временем катер, дымящиеся пирамиды угля. Ничего похожего на отдел кадров не было. Вывернув из-за горы металлолома, как из-за монумента войны, Дерейкин увидел на путях вагончик. С треском раскрылась дверь и, громко каркая, из вагончика вылетела большая ворона. Вид у вороны был жуткий. Тут же с проклятиями показалась косматая старуха, тоже похожая на ворону. Она яростно махала руками и что-то орала вороне вслед.

– Не скажете, где здесь отдел кадров? – спросил Федор.

– У нее вон спроси! – крикнула ведьма и с треском закрыла дверь.

Дерейкин вспомнил, что когда в помещение залетает птица – это к неблагоприятию. Оттого бабка, видно, и переполошилась, подумал он и еще раз постучал в дверь вагончика.

– Чего тебе?

– Отдел кадров.

– Я же сказала: у нее спроси!

– У кого? – Дерейкин посмотрел на ворону, усевшуюся на дереве напротив.

– Вон, у девчонки! Бестолочь. Ослеп, что ли? Все слепые какие-то, глухие, и все в отдел кадров прут! Инвалиды, ёшь корень! – с треском бабка захлопнула дверь.

Тут Федор заметил маленького роста женщину. Та чистила на плоском камне рыбу. Рыба, видимо, подсохла, и женщина яростно драла ее большим ножом.

– Вы отдел кадров?

– Я, – выпрямилась женщина, но от этого выше не стала.

– Вы рыбку-то смочите, легче пойдет, – посоветовал Федор.

– Это тебе не бабу драть, смочи! – оборвала его женщина. – Чего надо?

– Это, наверное, ваша мать в вагончике?

– Моя «вашамать». А что?

– Да нет, ничего. Она порекомендовала мне обратиться к вам.

– Порекомендовала? Ладно, подождите минутку, – смилостивилась женщина и, окунув окуньков в воду, дочистила их.

– Так, значит, к нам, – женщина вытерла руки о передник и взяла документы Дерейкина. – На самоходку? Дерейкин, значит, Федор... Вот тебе, бабушка, и ваша мать! Дерейкин? Ты, что ли, Федька? Вот не узнала бы никогда! Где лицо так обжег? Меня-то не забыл? – женщина подбоченилась, вздернула кверху носик.

Дерейкин узнал страшную хохотушку Лиду, даже не из прошлой, а позапрошлой, бог знает какой, институтской еще жизни. Ко лбу ее прилипли рыбки чешуйки.

– Лида!

– Узнал, сволочь! – Лида топнула ножкой и крутнулась на месте. – А я все та же, оторви да брось!

– Да вижу, что та же. Ты-то та же, я вот гаже.

– Пошли в помещение, записать надо и печать поставить.

– Мать не поперет?

– Не поперет. У нее там другая комната.

– У, так у тебя тут апартамент!

– А как же! Госслужба! Женат, Федя? Жена-ат... И дети есть? Е-есть... Сыночка Коля.

Давно женат?

– Второй год.

– Когда ребеночка-то успел наклепать? Приемный, что ли?

– Родной.

– Рассказывай! Ты тогда не его делал. Ты тогда другим занят был.

– Лида, мне не хотелось бы омрачать радость нашей встречи грубостью.

– О, извините, извините! Покорнейше приносим извинения. Блока по-прежнему читаете или уже без него?

– Пока с ним.

– Похвально, похвально... Поматросили и бросили, поматросили и бросили... Вот вам, Федор Иванович, документки. Пойдете теперь вон туда, все время прямо, налево не надо. Там вас определяют, куда надо. А со мною все, конец – делу венец!

– Зря ты так, Лида, зря.

– Ладно, ступай. Плохо будет, заглядывай. Глядишь, по старой памяти и не прогоню.

– Лоб оботри.

Отойдя шагов на двадцать, Федор оглянулся. Лида смотрела ему вслед, а из приоткрытой двери вагончика выглядывала старуха. Федор помахал им рукой. Его вдруг пронзила мысль, что он придет еще сюда. Ему даже на мгновение показалось, что это он в будущем и идет мимо черных дымящихся куч по пояс в бурьяне.

Вечером Федор сказал Кате, что на новой работе встретил довоенную знакомую. Вместе учились, почему-то сказал он. Лидка, кажется, нигде не училась, а провертелась всю молодость на танцульках, как стрекоза.

– Старые знакомые на новой работе – это хорошо, – сказала Катя. – Это хорошая примета. Хорошая примета оказалась плохой.

Сперва умер Коля. Врачи предупреждали, что он долго не протянет, что ему надо беречься, но что это произойдет так скоро – не думал никто. Коля играл в футбол с ребятами, и мяч со страшной силой ударил его по затылку. Прошлая травма дала себя знать. Недели три Коля пролежал в больнице, потом несколько раз терял сознание, приходил в себя, а последний раз как потерял его, так и не вернулся из небытия. На Кате лица не было. На похороны пришел дирижер и, не глядя на Катю, протянул ей холодную руку. Катя не почувствовала ее. Дирижер поцеловал мальчика в лоб и, сгорбившись, вышел из комнаты.

Несколько месяцев прошли под знаком траура, и когда лето и осень завалили снега зимы, они оба почувствовали, как устали. Федор не решался сказать Кате, что не стоит больше так убиваться по Коле, слава Богу, что ее сын вообще был на свете. Ему казался убедительным такой аргумент, но он не знал, как воспримет его Катя.

Прошла зима.

Когда пришла весна и Катя перестала чувствовать угрызения совести, Федор легко вздохнул, и их совместная жизнь обрела прежний ритм и пульс.

Как-то Катя рассказала Федору сон.

– Странный сон, Феденька. Идем мы с тобой по той улице и почему-то мимо нашего дома. И сердце вдруг защемило-защемило – почему же мимо-то? Подходим к интересному зданию. Резьба, башенки. Ты спрашиваешь: что за здание? Музей дыма, говорю. Интересное здание, сказал ты. И дальше идем. А что же это мы не зашли, рассуждаешь ты, музей все-таки, да и дыма, не огня, не земли, не истории края или каких-нибудь паровозов, наверное, интересный музей. Развернулись, пошли в музей. И снова причудливые башенки, двери из дуба. Вроде и люди заходят, но тут же исчезают куда-то, как дым. Может, он потому и называется – музей дыма, размышляешь ты, и тут же сам исчезаешь куда-то, растворяешься в полутемных залах. А я иду совсем в другую сторону. И там светло, и много красок, и нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало дым. Вот разве что запах, едва уловимый. Словно где-то очень далеко, чуть ли не в соседнем доме, подгорело молоко. Где-то на седьмом небе. А может, это я на нем? И снова как схватит сердце! Да сильно так! И с каждым шагом я все дальше и дальше от нашего дома, все дальше и дальше. И тебя нигде нет...

– Грустные ты мне, Катя, истории рассказываешь, – сказал Федор. – У тебя ничего не болит?

По тому, как она задумалась и ничего не сказала, Федор догадался, что у нее болит душа. Чем же тут поможешь, вздохнул про себя Дерейкин. Не проходит у нее боль, не проходит...

– А у нас уволили одного. Зря, я бы повысил – за находчивость. Пьяным застукали его, у нас строго с этим. Заставили объяснительную написать. Написал. «Пьян стал из-за попадания спирта в организм после того, как стал полоскать им больной зуб. Синцов стукнул меня по спине кулаком и я от неожиданности спирт проглотил».

– А как тебе такой сюжет? – спросила Катя. – Сюжет из времен заката средневековья.

– Как, оно разве закончилось, средневековье?

Катя рассмеялась.

– Вот, представь. Он, барон-фанфарон, полюбил актрису милостью Божьей, Ее. Тогда уже стали появляться в трупках актрисы. Это были актрисы на все времена! Раньше-то женские роли только мужчины играли. Она была просто чудо, и чудо как хороша. Поклонники вились вокруг Нее роем. Он был тоже из их числа, разве что побогаче других. Она же делала с Ним, что хотела, третиговала Его, помыкала Им, пока совсем не свела с ума (что было сделать совсем не трудно). Она была доступна для всех, но недоступна только для Него одного. Ее знала вся труппа и все поклонники. Они спорили друг с другом о форме родинки на ее бедре и цвете шрама чуть левее сердца. Она отталкивала Его, швыряла Ему в лицо Его подарки и хохотала. Однажды, застав Ее с каким-то Пьеро, Он пронзил Ее шпагой, а Себя кинжалом. Их обоих похоронили за пределами церковной ограды: Ее как актрису, Его как самоубийцу.

– Какой кошмар! И кто это тебе рассказал все эти ужасы?

Катя вспыхнула и не разговаривала с Федором весь вечер, а его словно подзуживал кто – тоже помолчит-помолчит да как рявкнет под Шаляпина: «А ночь пришла, она плясала, пила вино и хохотала! Хо-хо-та-а-ла!» А потом примется громко рассуждать о том, что трагедия в театре тем слаще, чем жутче в жизни. Когда Федор в девять часов вечера хохотал в пятый раз, Катя не выдержала и тоже расхохоталась. Подскочила к Федору и стала колошматить его кулачками.

– Ну, боксер, доставай вино! Ведь сегодня очередной день, как мы знакомы с тобой!

Федор достал две бутылки вина, они пили его, плясали, как сумасшедшие, и орали во все горло: «Хо-хо-та-а-ла!» От возбуждения оба не сомкнули глаз до утра. Один только раз продолжили начатую Катей тему.

– Все-таки в театре должны играть одни мужчины, – сказал Федор.

– Так и было когда-то, – сказала Катя.

– И играть только для женщин.

– А для кого, ты думаешь, создан театр?



– Женщине самой нельзя играть, так как это игра дьявола. Она не должна продавать ему душу.

– Женщина изначально продана ему, – сказала Катя.

– Я не об этом. В театре и так все крутится вокруг женщины. В любой пьесе женщина из мужчины делает тряпку. Из-за нее мужчины перестают быть мужчинами или становятся зверями. А если еще и сама актриса начинает крутить мужиков-актеров вокруг себя – получается одна ложь.

– Чего захотел! – усмехнулась Катя. – Правду в театре увидеть! Зачем театру правда? Правду в пивнушках да на кухнях ищи. Вылей-ка мне все остатки – напиться хочу!

– Мы с тобой как будто прощались, – сказала она на рассвете.

На следующий день из театра, в котором она работала до войны, принесли записку. Приглашали на юбилей театра. Подпись «Режиссер Славский».

– Новый, не наш, – сказала Катя. – Кажется, из Горького.

– Иди, развеешься, – сказал Федор. – Надень то платье, удивительно, оно черное, но ты в нем такая прозрачная вся.

Катя ушла в чудном платье, а Федор тыкался по углам и никак не мог отделаться от фразы: «Под городом Горьким, где ясные зорьки...»

В театре после концерта все выпили, стали вспоминать тех, кого растеряла труппа за годы войны. Помянули режиссера, первого мужа Екатерины, спросили у нее, не собирается ли она вернуться на театральные подмостки. Новый режиссер все поглядывал, поглядывал на нее, а прощаясь, вдруг предложил ей роль в новой пьесе, не героини, но характерную. «У вас андалузские глаза», – сказал он. И Катя тут же согласилась.

– Феденька, мне предложили в театре роль! – возбужденно воскликнула она сразу, как вошла в дом.

«Роль – Ее?» – подумал Федор. У него все оборвалось внутри, но он виду не подал и сказал:

– Это, Катя, просто замечательно! Просто замечательно! Поздравляю. Да ты раздевайся. Чего стоишь? Или собралась еще куда идти? Давай помогу. Тебе надо развеяться... Нельзя так долго убиваться по Коле! Он уже там, где ему хорошо.

«Может, даже лучше, чем нам, – подумал Федор. И ему стало тоскливо, так как видно было, что Катя думает, конечно же, не о Коле. – Надо же, ощущения одни, когда срываешься вниз, и у тела, и у сердца; у сердца только дольше летишь».

– Феденька! А давай выпьем!

– Выпьем, так выпьем, – сказал Федор и почувствовал вдруг себя сиротой, как тогда, в майскую победную ночь под Будапештом.

Собственно, этого следовало ожидать.

Катю засосала театральная жизнь, времени на семью практически не оставалось, а если и оставалось, то в совершенно иные, не стыкующиеся с Федиными отрезками свободного времени. Да и какая семья! Возвращалась она домой за полночь.

Первое время Федор ее встречал, но через пару недель совершенно выбился из сил, и ее стал провожать домой режиссер Славский. Они иногда подолгу стояли под окнами, несмотря на мороз. Федор не прислушивался к их разговору, но голоса то и дело долетали до слуха, они много смеялись, и Федору уже хотелось только одного: чтобы жена скорее зашла домой, и он наконец-то уснул. Или уж совсем не приходила бы, подумал как-то Федор, подумал совершенно спокойно. Чему бывать, того не миновать – так говорится в сказках. Но больше месяца он каждый раз думал о том, что не выдержит больше, сорвется, начнет кричать, раз чуть не выскочил во двор – худо бы пришлось режиссеру! – но заходила Катя, и он понимал, что криком, а уж тем более руками себе не поможешь.

– Чего же он к нам не зайдет? – раз только и спросил у Кати, и весь стал как мина. – Зашел бы. Не съем, чай.

– Федя, «чай» – это вульгарно!

Странно, но мина не взорвалась.

Однажды Катя домой не пришла. Федор не спал всю ночь, а под утро уснул и проспал все на свете: и работу, и приход жены. Когда проснулся, Катя стала, было, говорить ему о том, что вчера репетиция не шла, что...

– Катя, не надо, – глухо пробормотал Федор. – Мы же договорились с тобой: не надо придумывать ничего сверх того, что было. Зачем?

– Ты прямо бегемот какой-то! – звонко воскликнула она. – Толстокожий!

«Она думает, что я сорвусь? Она хочет, чтобы я сорвался?»

– Когда с тебя сдирают шкуру, тебе все равно, толстокожий ты или тонкокожий. Толстокожему так еще и больней.

– Феденька, прости! Прости, Христа ради! Я не могу отказаться от той жизни. А хочешь, пошли работать в театр! Тебя возьмут. Осветителем или еще кем-нибудь!

В глазах ее было отчаяние и мольба. «Неужели она, в самом деле, хочет, чтобы я пошел в театр? Зачем?!»

– Не надо, Катя, спасибо тебе. Пойдем, не оглядываясь, каждый своим путем. Пусть в душе каждого из нас сохранится хоть один уголок семейного очага, который грел нас.

Катя заплакала:

– Прости меня, прости! Я себе этого никогда не прощу!

– Ну, зачем так, «никогда»? Простишь, и все будет хорошо. Ты не переживай, я завтра уйду отсюда. Мне ничего не надо. Пришел без всего, без всего и уйду. Ну а что в душе унесу, так за то только спасибо. Там после войны благодаря тебе образовалось светлое пятнышко.

И еще он сказал ей:

– Я, Катя, как стяг на башне оставленного города. Город оставили, но город остался. Что делаешь, делай скорее.

Выпадают такие дни, когда даже два близких человека чувствуют себя чужими. Им обоим одиноко и не хочется говорить ни о чем. В эти минуты как-то обостренно им обоим видится их собственная жизнь, в которой не так уж и много тепла и доброты. Это был такой день, последний день, что они провели вместе. Часа в три Катя ушла, а Федор долго смотрел из окна ей вслед. Она обернулась, помахала ему, потом еще раз, еще. Скрылась за углом. Навсегда.

«А, собственно, чего мне ждать завтра? – подумал Дерейкин. – Завтра, завтра, не сегодня – все лентяи говорят. Немецкий майор, помнится, любил эту поговорку».

Федор собрался, сунул ключ под коврик и ушел из дома в ночь. На душе было, понятно, не светло, но не безнадежно. Он побрел сначала на вокзал, думал уехать, куда глаза глядят, а потом сам не заметил, как очутился на пустыре возле реки. От белых сугробов в свете полной луны поднимался пар. Это уголь, догадался Дерейкин и прямо перед собой заметил вагончик. К нему была протоптана тропка. Федор подошел, постучал. Раз, другой, третий. Стучал сильно, словно хотел достучаться до рокового «навсегда».

– Какого черта?! – раздалось за дверью.

– Лида, открой! Это я, Федор!

## Глава 8. Тихие радости

С Лидой Федор жил хорошо. Мать они сперва оставили в вагончике, а сами перебрались на частную квартиру, а потом и мать забрали к себе. Через год у них родился крепыш Васька, и дом наполнился тряпками, колготой, и в нем совсем не осталось места свободному времени.

Зарботки у Федора были приличные, и Лида какое-то время могла не работать. Она поправилась, росту, правда, в ней не прибавилось, но носик вздернулся кверху еще сильнее и больше она не сквернословила. Да и Федор этого очень не любил.

– Женщине мерзость пачкать рот матерщиной и блевотиной, – грубо, но просто сказал он ей в первый же вечер в вагончике, когда Лида от радости стала пить водку из горлышка бутылки и через слово материться. Лида поняла, что это приказ, а не рассуждения, и покорилась.

– Федя, это меня война такой сделала, – оправдывалась она.

– Нет, Лида, это мы войну сделали! Мы!

Стихи Федор больше не читал. Стихи! Лишь иногда в тяжкие минуты, когда было больно, для наполнения души светом и для придания жизни призрачного смысла, про себя «проговаривал» их и даже напевал на какой-нибудь мотив. «Я помню нежность ваших плеч – они застенчивы и чутки...»

В брак с Лидией Федор вступил ровно через год после того, как был оформлен его развод с Катей. С Катей они поговорили по-хорошему, и та заботливо (в последний раз) спросила, не болит ли у него нога.

– Нога не болит, – ответил Федор.

– Славский просит моей руки, – сказала Катя. – А на той неделе он, представляешь, подрался с Тумановым!

Федор пожал плечами. Ему это было уже почти что все равно. Время драк и дуэлей для него закончилось. А в драке режиссера с дирижером было что-то жалкое и смешное. Трудно было кого-то из них представить даже Раулем. Не спектакль и не симфония, а так, толкучка на выгоне. И он чуть не сказал, едва сдержав себя: «Хорошо еще, Катя, не просит твоей ноги!»

Лида первое время, дурея от счастья, все заглядывала в глаза Федору и допытывалась у него, отчего он так изменился, не смеется, бежит шумной компании, не приглашает друзей, сам не ходит никуда. Не выпивает? Не заболел ли?

– Тебе хочется, чтобы я пропал у какой-нибудь бабы в подоле?

– Нет, Феденька, что ты! Разве я этого хочу? Не заскучал бы ты дома один.

– Я дома не один, – ответил Федор. – Нас трое, а с мамой твоей четверо. Где ж я один?

Года два у него сжималось сердце, когда он слышал обращенное к нему ласковое «Феденька», но ни разу не сорвался и не охладил искренний порыв жены грубым словом или жестом. Он решил, что в семье обязательно хоть один человек, но должен быть счастлив. А другой обязан этот огонек поддерживать всю оставшуюся жизнь. Тогда еще есть вероятность того, что и дети их и внуки не потеряют с пеленок интереса к жизни и не станут ненужными ей, как аппендикс...

Когда он шагал с работы домой, делая крюк, первое время нет-нет, да и спрашивал себя, зачем он так поступил, ведь ему, по большому счету, в тот момент никто не был нужен, а меньше всех Лида... Вообще, кто бы мог подумать, что он женится на Лидке, одной из случайных знакомых, которых у него было пруд пруди. Но когда он пробовал вспоминать, других девушек, вроде как, и не было вовсе. Все-таки у меня началось все с пиратов, думал Дрейк.

## Глава 9. Первое плавание

Лет в десять Феде в руки попал «Остров сокровищ» Стивенсона. Он его зачитал до дыр, будь остров тазиком, пошел бы от такого усердия ко дну. Он даже нашел место на географической карте, где тот остров должен был располагаться. После этого Федор не просто прочел, а изучил все книги о пиратах, какие только были в сельских, а позже в городских и домашних библиотеках. Заодно он всеядно поглощал исторические монографии и беллетристику, книги по судоводждению и морскому праву, каталоги с описанием парусов и словари морских терминов, географические атласы и карты морского дна, словом, все, что могло иметь хоть какое-то отношение к пиратам и их приключениям. Его интересовало любое слово, начиная со времен Гомера и Цезаря, которое соседствовало бы со словом пират, корсар, морской разбойник и еще добрым десятком подобных ключевых слов. Больше всего он интуитивно доверял старинным рассыпавшимся фолиантам из домашней библиотеки старого учителя географии. Из них он и почерпнул наиболее основательные и достоверные сведения по истории морского пиратства. Когда он прочел все книги на русском языке, стал читать на английском и испанском – в пору студенчества. Многие из этих книг выдавались только преподавателям или вообще по спецразрешению, но он добился и разрешения, и даже допуска к полкам, на которых лежали никому больше не нужные, заветные книги о пиратах всех морей и океанов. Обкладывался несколькими словарями и тут же строчил в тетрадочку перевод. Почти год он все свое свободное время проводил в читальных залах. А пользуясь своим обаянием, он радостно смотрел в глаза молоденькой библиотекарше и просил ее дать ему книгу на ночь. Грех было отказать. В читальной комнате он иногда просиживал за переводом до утра. Вскоре он довольно бегло научился читать на обоих языках, словарный запас у него вырос настолько, что он мог уже переводить, почти не заглядывая в словари. Произношение, правда, у него было ужасное. Когда он на зачете по немецкому языку похвастал, что знает еще английский и испанский, удивленная преподаватель попросила сказать что-нибудь, и когда он важно произнес что-то на обоих языках, она была в шоке. То есть, начини специально коверкать произношение, так не получится. Она похвалила полиглота и поставила ему по немецкому зачет. К третьему курсу Федор знал о Дрейке больше, чем тот сам знал о себе.

Федор Дрейк, капитан – представлялся он с тех пор. И тут же начинал рассказывать о том, как люди приветствовали его на улицах Лондона аплодисментами, или о голых туземцах, которым нипочем ни лед, ни стужа, чьи губы и носы проткнуты костяными или деревянными палочками, и которые всю жизнь проводят танцуя, а умирают опять же только от танцев.

Из поэтов Федор читал одного Блока, так как считал Блока тоже пиратом, потому что только пират мог сказать: «Как не бросить все на свете, не отчаяться во всем, если в гости ходит ветер, только дикий черный ветер, сотрясающий весь дом?» И потом, отчего возникает северное сияние, кто скажет? Так вот, если от стихотворения возникает такое же необъяснимое сияние, восхитительное и красивое, оно волнует. У Блока все стихи были такие.

В четырнадцать лет Федор окончил курсы судоводждения и два лета ходил помощником на буксировщике и толкаче по Дону и Донцу. На толкаче не понравилось: надсадная работа, сизифов труд. На буксировщике было лучше. Ты впереди, баржа позади, и глаза бы на нее не глядели! Не фрегат, но и не бухгалтерский стол с корзиной у ног! В «хождениях по рекам» истории разные приключались, но пираты, похоже, все давно перевелись.

В 1938 году Дерейкин без благословения матери и без отцова разрешения в пиджачке и летних туфлях подался из своей станицы на высоком берегу Северского Донца на учебу в город Воронеж, где еще кто-то помнил самого царя Петра с его ботом под парусом. В Воронеже, понятно, пиратству не обучишься, да и негде было потом применить эти знания, но вот выучиться на механика, чтобы вся страна могла узнать о нем и восхищаться его золотыми

руками, было можно. Федор тогда еще не знал, что механики изучают маятник вовсе не для того, чтобы изучить время, а для того, чтобы вычислить треугольники пространства.

К тому же, на решительный поступок его подтолкнул случай. Батя выпил и по старой памяти поднял на сына руку, но Федор перехватил ее, а отца толкнул в грудь, да так, что тот полетел вверх тормашками. В тот же вечер Федор и ушел из дома куда глаза глядят.

В университет он поступать не рискнул, вернее, и не подумал даже, а подал заявление куда попонятнее, в сельхозинститут.

– Если поступите, стипендии не будет, – предупредили его. – Ведь ваш отец специалист?

– Да, прораб на шлюзах.

При поступлении Федору пришлось не сладко. Городским лафа: они прекрасно знали то, о чем он впервые услышал лишь на консультациях. Откуда ему было знать все эти премудрости в сельской глуши? Секанс с косекансом? Хоть станица и почище иного города будет, но «провинция она и есть провинция». Эти слова он услышал ненароком о себе и весьма возгордился ими. Вообще-то ему сразу намекнули, мол, сверчок – знай свой шесток, еще при приеме документов. Совсем молодой член приемной комиссии бросил:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.